А. И.
КУПРИН

Избранное



Жидкое солнце

Александр Иванович Куприн

Аннотация

Александр Иванович Куприн. Жидкое солнце

Аннотация

«Я, Генри Диббль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения, вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться, мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте шести тысяч футов на вершине вулкана Каямбэ в южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительной жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного потрясающего безумия…»

Александр Иванович Куприн
Жидкое солнце

Я, Генри Диббль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения, вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться, мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте шести тысяч футов на вершине вулкана Каямбэ в южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительной жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного потрясающего безумия.

Но отсутствие четырех пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье «куриной слепотой», каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляют меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец, вовсе уж не бред, и не сон, и не заблуждение те четыреста фунтов стерлингов,

что я получаю аккуратно по три раза в год из конторы «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451. Это пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шхуны «Гонзалес».

Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в тысяча… Вот, кстати, и опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю, в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике: именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и восстановляю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов и историческая хронология; выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни, улетучились все научные

формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем, исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но две-три уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться.

Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за два, три, четыре года, а может быть, даже и за пять лет до начала XX столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мод, фермер из Норфолька, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное — нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падет луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный, как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать — совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара, ночью, объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил

крепкой соей, бутылкой виски и двумя галлонами шотландского светлого пива.

Его предсказания и пожелания не исполнились. Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше: мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тутора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе: я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно.

Ни на заводах, ни в технических конторах — нигде я не мог и не умел пристроиться. Большей частью я приходил слишком поздно: место уже бывало занято.

Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой двух-трехмесячный труд и выбрасывали на улицу, как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня.

Но я был прежде всего англичанином и уважал себя, как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным, трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба наконец сдалась перед моим англосаксонским мужеством.

Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бетналь Грина, в забытом богом Ист Энде и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему четыре шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать трех его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существовании лежит невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием. Когда в доках Ист Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена

на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особенно тяжелую разгрузку или нагрузку, где я шутя мог зарабатывать восемь — десять шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый и религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу.

Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчичьими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво; иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсу манежа во время антрактов, служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе, в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и

наоборот, писал надгробные эпитафии, и мало ли чего я еще не делал! По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно нуждался. У меня был желудок, как у верблюда, сто пятьдесят английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и к необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфири, которую бросил в Дублине с двумя детьми муж-ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник, — но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать два незначительных изобретения: очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что не я воспользовался плодами моих изобретений — ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет

миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой.

Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнувшую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул:

— Поглядите-ка, старик. Пусть я не разберу антрацита от кокса, если эти строки не для вас, парень.

Я прочитал не без интереса следующее (приблизительно) объявление:

«Стряпчие „Э. Найдстон и сын“, Реджент-стрит, 451, ищут человека для путешествия к экватору, до места, где ему придется остаться не менее трех лет для научных занятий. Условия: возраст от 22 до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий один, а лучше два европейских языка (французский и немецкий), несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалова-

нье — 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику. Являться ежедневно от 9 до 10 часов». Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя и очень небрежно записанный и смытый морской водою.

— Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие, — сказал Джонсон, одобрительно хлопнув меня по спине. — Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверно, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше Дэрби. Анна, сделай ему сандвичи с мясом и вареньем. Почем знать, может быть, ему придется ждать очереди часов пять. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия! На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговой аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер. Вы как раз захватили последний номер». И тотчас же укрепил на дверях, снаружи, роковой анонс: «Прием по объявлению

окончен».

В полутемной, тесной и достаточно грязной приемной — таковы почти все приемные этих волшебников из Сити, ворочающих миллионными делами, — дожидалось человек десять, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестевших от времени скамьях, над которыми, на высоте человеческих затылков, старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд, голодный, оборванный, загнанный вконец нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставку уродов! Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые и злобно-ревнивые, подозрительные взгляды исподлобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли еще семнадцатилетнего возраста, а другим давно перевалило за пятьдесят. Один за другим они бледными тенями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, только что вытащенных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было сознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все

они, взятые вместе.

Наконец дошла очередь до меня. Кто-то приотворил изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывисто и брезгливо, кислым голосом:

— Номер восемнадцатый, и, слава аллаху, последний! Я вошел в кабинет, почти такой же запущенный, как и приемная, с тою только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью: двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них, в длинном рабочем вестоне[1], был худ, смугл, желтолиц и суров с виду, а другой, одетый в новенький с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив нога на ногу.

Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел было на диван.

— Подождите, — сказал смуглый. — Сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает.

---

[1] Примечания: 1
Пиджаке (от *фр.* veston)

Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди.

— Наконец-то хоть один в чистом белье, — сказал он небрежно.

Он прослушал мои легкие и сердце, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы и, наконец, сказал лениво:

— Здоров, как живая рыба. Немного недоедал в последнее время. Это пустяки, вопрос двух недель хорошего питания. Даже, к его счастью, я не заметил у него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Словом, мистер Найдстон, я передаю вам джентльмена, как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам более не нужен?

— Вы свободны, доктор, — сказал стряпчий. — Но вы, конечно, позволите известить вас завтра утром, если мне понадобится ваша компетентная помощь?

— О, мистер Найдстон, я всегда к вашим услугам. Когда мы остались одни, стряпчий уселся

против меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У него были маленькие зоркие глаза цвета кофейных зерен и совсем желтые белки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие, острые, блестящие иголочки.

— Поговорим, — сказал он отрывисто. — Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения?

Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне…

— Образование?

— Королевский университет.

— Специальность?

— Математический факультет. В частности, физика.

— Иностранные языки?

— Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь, могу и сам слепить десятка четыре необходимых фраз, читаю без затруднения.

— Родственники и их социальное положение?

— Это разве вам не безразлично, мистер Найдстон?

— Мне? Совершенно все равно. Я действую в интересах третьего лица.

Я рассказал ему сжато о положении моих двух сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня две иглы из своих глаз и спросил:

— Пьете? И сколько?

— Иногда во время обеда полпинты пива.

— Холост?

— Да, сэр.

— Собираетесь сделать эту глупость? Жениться?

— О нет.

— Мимолетная любовь?

— Нет, сэр.

— Гм… Чем теперь занимаетесь?

Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, опустив ради экономии времени пять или шесть моих случайных профессий.

— Так, — сказал он, когда я окончил. — Нуждаетесь сейчас в деньгах?

— Нет. Я сыт и одет. Всегда нахожу работу. Слежу по возможности за наукой. Верю твердо, что рано или поздно выплыву.

— Не хотите ли денег вперед? В задаток?

— Нет, это не в моих правилах. Брать деньги ни с того ни с сего… Да мы еще не покончили.

— Правила ваши недурны. Очень может быть,

что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес. Я вас извещу. И вероятно, очень скоро. Доброго пути.

— Простите, мистер Найдстон, — возразил я. — Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порою даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы и мне позволите задать вам один вопрос?

— Прошу вас.

— Цель поездки?

— Эге! Разве вам не все равно?

— Предположим, что нет.

— Цель чисто научная.

— Этого мало.

— Мало? — вдруг закричал на меня мистер Найдстон, и из его кофейных глаз посыпались снопы иголок. — Мало? Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма «Найдстон и сын», существующая уже полтораста лет и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?

— О сэр, я не сомневаюсь, — возразил я скон-

фуженно.

— Хорошо, — прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла. — Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Саутгемптона…

— Куда? — спросил я быстро.

— Пока этого я не могу сказать вам. А во-вторых, цель вашей поездки (если она вообще состоится) для меня самого не совсем ясна.

— Странно, — сказал я.

— Удивительно странно, — охотно подхватил стряпчий. — И даже, если угодно, я вам скажу больше: это фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия!

Теперь была моя очередь сказать «гм», и я это сделал с некоторою осторожностью.

— Подождите, — воскликнул с внезапной горячностью мистер Найдстон. — Вы молоды. Я старше вас лет на двадцать пять — тридцать. Вы уже многим великим завоеваниям человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я сам буду заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проволоке, или что я

буду разговаривать с моим знакомым за восемьдесят миль расстояния, что я увижу на полотне экрана двигающиеся, смеющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки и так далее и так далее, — то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива за то, что со мной говорит сумасшедший.

— Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?

— Если хотите, — да. Но, прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну, что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой — из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если бы вам предложили работать ради будущего устроения и украшения земли? Посвятить свое творчество и душевную мощь счастию будущих поколений? Что вы сказали бы? Да вот вам живой пример. Поглядите в окно.

Я невольно привстал, повинуясь его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла.

Там, на улицах, висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман. И в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было в одиннадцать часов дня.

— Да, да, поглядите, — произнес мистер Найдстон, — поглядите внимательно. Теперь предположите, что гениальный самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения земли. Он говорит вам, что все, что есть на земле, зависит от ума, воли и рук человека. Он говорит, что если бог в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни, крайности климатов, ветры, извержения вулканов — все подвержено влиянию и контролю человеческой воли, что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что вы сказали бы этому человеку?

— Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана? Капризного безумца?

Мистер Найдстон встал и, протягивая мне руку

в знак прощания, сказал твердо:

— Нет. На борту парохода, месяца через два-три (если, понятно, мы сговоримся), я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения перед человеком и идеей. Но я, к сожалению, профан, мистер Диббль. Я только стряпчий — хранитель и представитель чужих интересов.

После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе наконец надоело мое неизменное созерцание ее непреклонной спины и что она решилась показать мне свое таинственное лицо. Поэтому в тот же вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханно роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, пломпудинга и горячего шоколада и в котором принимала участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню, — человек шесть или семь Джонсонов-младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною, слева.

И я не ошибся. На другой день вечером я получил телеграмму: «Жду завтра в полдень, Реджент-стрит, 451. Найдстон».

Я пришел к нему секунда в секунду в назначенное время. Его не было в конторе, но слуга предупредительно проводил меня в небольшой кабинет ресторана, помещавшегося за углом, шагах в двухстах. Мистер Найдстон был один. Ничто в нем сначала не напоминало того экспансивного и даже, пожалуй, поэтично настроенного человека, который так горячо говорил мне третьего дня о счастье будущих поколений. Нет. Это опять был тот сухой и немногоречивый стряпчий, который при первой встрече со мной в то утро повелительно приказал мне раздеться и потом допрашивал меня, как следователь.

— Здравствуйте, садитесь, — сказал он, указывая на стул. — Сейчас время моего завтрака, и у меня самый свободный час. Я хотя и зовусь Найдстон и сын, но сам — холостой и одинокий человек. Итак, — есть? Пить?

Я поблагодарил и спросил чаю с поджаренным хлебом. Мистер Найдстон неторопливо ел, пил маленькими глотками старый портвейн и молча время от времени пронзал меня сверкающими иглами своих глаз. Наконец он вытер губы, бросил салфетку на стол и спросил:

— Итак, согласны?

— Купить кота в мешке? — спросил я, в свою

очередь.

— Нет, — воскликнул он громко и сердито. — Прежние условия остаются in status quo[2]. Перед отправлением на юг вы получите все наиболее полные сведения, какие я только смогу и сумею вам сообщить. Если они не удовлетворят вас, то вы, с своей стороны, можете не подписывать контракт, а я плачу вам некоторое вознаграждение за то время, которое вы потеряли в праздных разговорах со мной.

Я внимательно поглядел на него. В это мгновенье он весь был занят тем, что старался, обняв правой рукой кисть левой, раздавить два ореха. Острые иглы глаз были скрыты занавесками век. И тут я, точно в каком-то озарении, вдруг увидел в лице этого человека всю его душу — странную душу формалиста и игрока, узкого специалиста и необычайно широкую натуру, раба своих конторских профессиональных привычек и в то же время тайного искателя приключений, сутягу, готового засадить за два пенни своего противника в долговое отделение, и в то же время чудака, способного пожертвовать все свое состояние, накопленное десятками лет каторж-

---

[2] Примечания: 2
В прежнем положении *(лат.)*

ного труда, ради призрака прекрасной идеи. Эта мысль промелькнула у меня быстро, как молния. И Найдстон тотчас же, как будто наши души соединил какой-то незримый ток, открыл свои глаза, крепким усилием раздавил в мелкие куски орехи и улыбнулся мне ясной, детской, почти проказливой улыбкой.

— В конце концов вы мало чем рискуете, дорогой мистер Диббль. Прежде чем вы отправитесь на юг, я дам вам несколько поручений на континент. Эти поручения не требуют от вас большой затраты научного багажа, но потребуют большой механической аккуратности, точности и предусмотрительности. Это займет у вас на крайний случай месяца два, — может быть, неделей больше или меньше. Вы должны будете принять в разных местах Европы несколько очень дорогих и очень хрупких стекол, а также несколько чрезвычайно тонких и чувствительных физических инструментов. Их упаковку, доставку на железную дорогу, транзит морем и железной дорогой я целиком вверю вашей наблюдательности, ловкости и умению. Согласитесь с тем, что какому-нибудь пьяному матросу или носильщику ничего не стоит сбросить в люк ящик и разбить вдребезги маленькое двояковыпуклое

стеклышко, над которым десятки людей работали десятки лет…

«Обсерватория! — радостно подумал я. — Конечно, это обсерватория! Какое счастье! Наконец-то я поймал тебя за хвост, неуловимая судьба».

Но я уже видел, что он понял мою мысль, а глаза его сделались еще веселее.

— Не будем говорить об оплате этого вашего первоначального труда. В мелочах мы, понятно, с вами сговоримся, это я вижу по вас, но, — и он вдруг совсем уж беззаботно, по-мальчишески расхохотался, — но мне хочется обратить ваше внимание на очень курьезную вещь. Смотрите, через мои руки прошло тысяч около десяти, двадцати чрезвычайно интересных дел. Из них некоторые на громадные суммы. Несколько раз я попадался впросак, и это несмотря на всю нашу утонченную казуистическую точность и аккуратность. И вот, представьте себе, каждый раз, когда я отбрасывал в сторону все ухищрения ремесла и глядел человеку ясно и просто в глаза, как я сейчас гляжу на вас, я никогда не впадал в ошибку и не раскаивался. Итак?

Его глаза были ясны, тверды, доверчивы и ласковы. В эту секунду этот маленький, смуглый, сморщенный, желтолицый человек точно взял

руками мою душу и покорил ее.

— Хорошо, — сказал я. — Я вам верю. С этой минуты я в вашем распоряжении.

— О, зачем так скоро, — возразил добродушно мистер Найдстон. — У нас впереди пропасть времени. Мы еще успеем с вами выпить бутылку кларета. — Он надавил кнопку висячего звонка. — Затем вы устроитесь со своими вещами и со всеми личными делишками, и сегодня же, в восемь часов вечера, вы ко времени отлива должны быть на борту парохода «Лев и Магдалина», куда я вам привезу ваш точный маршрут, чеки на различные банки и деньги для ваших собственных расходов. Милый юноша, пью за ваше здоровье и за ваши успехи. Ах, если бы вы знали, — вдруг воскликнул он с неожиданным энтузиазмом, — если бы вы знали, как я вам завидую, дорогой мистер Диббль!

Чтобы немножко и совсем невинно польстить ему, я возразил почти искренне:

— За чем же дело стало, дорогой мистер Найдстон? Клянусь, что душой вы так же молоды, как и я.

Смуглый стряпчий опустил свой тонко очерченный, длинный нос в стакан с кларетом, помолчал немного и вдруг сказал с искренним вздохом:

— Эх, мой милый! Контора, существующая чуть ли не со времен Плантагенетов, честь фирмы, предки, десятки тысяч уз, связывающих меня с клиентами, сотрудниками, друзьями и врагами… всего я и не перечислю… Значит, больше никаких сомнений?

— Нет.

— Итак, чокнемся и споем: «Rule Britannica»[3]. И мы чокнулись и запели — я, почти мальчишка, вчерашний бродяга, и этот сухой деловой человек, влиявший из мрака своей грязной конторы на судьбы европейских держав и капиталов, — запели самыми невероятными и фальшивыми голосами в мире:

Правь, Британия,
Правь через волны,
Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом!

Вошел слуга и, обращаясь почтительно к мистеру Найдстону, сказал:

— Простите меня, я с истинным наслаждением слушал ваше пение. Ничего более прекрасного я не слышал даже в Королевской опере, но рядом с

---

[3] Примечания: 3
«Правь, Британия!» *(англ.)*

вами, за стеной, собрание клуба любителей французской средневековой музыки. Может быть, я не так назвал собрание джентльменов… но у всех у них очень капризный музыкальный слух.

— Вы правы, — кротко ответил стряпчий, — и потому прошу вас принять на память этот маленький круглый желтый предмет с изображением нашего доброго короля.

Вот краткий список тех городов и мастерских, которые я посетил с тех пор, как впервые переплыл канал. Выписываю их целиком из своей записной книжки: Пражмовский в Париже и инструментальная фирма Репсольдов в Гамбурге, Пейсе, братья Шотт и Сляттф в Иене; в Мюнхене Фраунгоферский и оптический институт Уитшнейдера и там же Мерц; Шик в Берлине, Беннех и Вассерман там же. И там же неподалеку, в Потсдаме, чудесное отделение фабрики Пражмовского, работающего в сотрудничестве с весьма обязательным и просвещенным доктором Э. Гартнак.

Маршруты, составленные мистером Найдстоном, были необычайно точны, вплоть до указаний времени пересадок и адресов недорогих, но комфортабельных английских отелей. Он делал маршрут собственноручно. Но и тут сказалась его

странная, способная на всякие неожиданности натура. На углу одной из страниц его угловатым твердым почерком, карандашом, была записана краткая сентенция: «Если бы Чанс и компания были настоящими англичанами, то они не забросили бы своего дела и нам не приходилось бы ездить за стеклами и инструментами к французам и немецким шнурбартбинтхалтерам»[4].

Скажу по правде, не хвастаясь, что всюду я держал себя с надлежащим весом и достоинством, потому что много раз, в критические моменты, в моих ушах раздавался ужасный козлиный голос мистера Найдстона: «Никогда англичанин не будет рабом».

Впрочем, надо сказать, что я не мог пожаловаться на недостаток внимания и предупредительности ко мне со стороны ученых оптиков и знаменитых инструменталистов. Мои рекомендательные письма, подписанные какими-то крупными черными, совершенно неразборчивыми каракулями и скрепленные внизу четким автографом мистера Найдстона, служили в моих руках подобием волшебной палочки, открывавшей мне все двери и сердца. С неослабным,

---

[4] Примечания: 4
Наусникам (от *нем.* Schnurrbartbindhalter)

глубоким интересом наблюдал я за приготовлением и шлифовкой выпуклых и вогнутых стекол и за выделкой тончайших остроумных и прекрасных инструментов, сверкавших медью и сталью, сиявших всеми своими винтами, трубами и нарезами. Когда мне впервые показали в одной из самых знаменитых мастерских мира почти законченный пятидесятидюймовый рефрактор, который нуждался всего лишь в каких-нибудь годах двух-трех окончательной шлифовки, — у меня остановилось сердце и захватило дыхание от восторга и умиления перед мощью человеческого ума.

Но меня чрезвычайно смущало то настойчивое любопытство, с которым все эти серьезные, ученые люди старались, поочередно, по секрету друг от друга, проникнуть в тайные замыслы моего, неведомого мне самому, патрона. Иногда тонко и искусно, иногда с грубой неловкостью они старались выпытать у меня подробности и цель моей поездки, адреса фирм, с которыми мы имеем дело, характер и назначение наших заказов в других мастерских и т. д., и т. д. Но, во-первых, я твердо помнил очень серьезное предостережение мистера Найдстона насчет болтливости, а во-вторых, что я мог бы им ответить, если бы даже добросо-

вестно согласился на это? Я сам ничего не знал и бродил ощупью, точно ночью в незнакомом лесу. Я принимал, сверяясь с чертежами и вычислениями, какие-то странные, чечевицеобразные стекла, металлические трубы и трубочки, нониусы, мельчайшие микрометрические винты, миниатюрные поршневые цилиндры, обтюраторы, тяжелые стеклянные, странной формы колбы, манометры, гидравлические прессы, множество совершенно мне непонятных, доселе не виданных мною электрических приборов, несколько сильных луп, три хронометра и два водолазных скафандра со шлемами. Одно лишь становилось мне все более ясным: загадочное предприятие, которому я служил, ничего не имело общего с постройкой обсерватории, а по виду принимаемых мною предметов я даже и приблизительно не мог догадаться о цели, которой они были предназначены служить. Я только с напряженным вниманием следил за их тщательной упаковкой, изобретая постоянно хитроумные способы, предохраняющие от тряски, поломки и погнутия.

От назойливых расспросов я отделывался тем, что внезапно умолкал и, не произнося ни звука, начинал глядеть каменными глазами в

самую переносицу любопытного. Но однажды мне поневоле пришлось прибегнуть к весьма убедительному красноречию: толстый, наглый, самоуверенный пруссак осмелился предложить мне взятку в двести тысяч германских марок за то, чтобы я выдал ему тайну нашего предприятия. Это случилось в Берлине, в моей отельной комнате, расположенной в четвертом этаже. Я коротко и строго заметил этому жирному, наглому животному, что он разговаривает с английским джентльменом. Но он заржал, как настоящий першерон[5], хлопнул меня фамильярно по плечу и воскликнул:

— Э, бросьте, мой милейший, эти штучки. Мы прекрасно понимаем их цену и значение. Вы находите, что я предложил вам мало? Но ведь мы можем, как умные и деловитые люди, сойтись на…

Его пошлый тон и грубый жест совсем не понравились мне. Я распахнул огромное окно моей комнаты и, указывая вниз, на мостовую, сказал твердо:

— Еще одно слово — и вам для того, чтобы убраться отсюда, не надо будет прибегать к помо-

---

[5] Примечания: 5
Порода лошадей (от *фр.* percheron)

щи лифта. Ну, раз, два…

Он встал, побледневший, струсивший и разъяренный, хрипло выругался на своем картавом берлинском жаргоне и, уходя, так хлопнул дверью, что пол моей комнаты задрожал и все предметы на столе запрыгали.

Последняя моя остановка на континенте была в Амстердаме. Там я должен был вручить рекомендательные письма двум владельцам двух всемирно известных гранильных фабрик — Маасу и Даниэльсу. Это были умные, вежливые, важные и недоверчивые евреи. Когда я посетил их поочередно, то Даниэльс первым делом спросил меня лукаво: «Конечно, вы имеете поручение также и к господину Маасу?» А Маас, только что прочитав адресованное ему письмо, сказал пытливо: «Несомненно, вы уже виделись с господином Даниэльсом?»

Оба они проявили в сношениях со мною крайнюю осторожность и подозрительность, долго совещались между собою, посылали куда-то простые и шифрованные телеграммы, наводили точнейшие и подробнейшие сведения о моей личности и так далее. В день моего отъезда они оба явились ко мне. В их словах и движениях чувствовалась какая-то библейская торжествен-

ность.

— Извините нас, молодой человек, и не сочтите за знак недоверия то, что мы вам сейчас сообщим, — сказал старший из них и более важный — Даниэльс. — На линии Амстердам — Лондон все пароходы обыкновенно кишмя кишат международными ворами самых высших марок. Правда, мы держим в строжайшем секрете исполнение вашего почтенного заказа, но кто же может ручаться за то, что один или двое из этих пронырливых, умных, порою даже почти гениальных международных рыцарей индустрии не ухитрились проникнуть в нашу тайну? Поэтому мы считаем далеко не лишним окружить вас незримой, но верной охраной из опытных полицейских агентов. Вы, пожалуй, даже и не заметите их. Вы сами знаете, что осторожность никогда не помешает. Согласитесь, что и вашим доверителям, и нам будет гораздо спокойнее, ежели то, что вы повезете, будет во все время пути под надежным, зорким и неусыпным надзором? Ведь здесь дело идет не о кожаном портсигаре, а о двух вещах, которые стоят в сложности около миллиона трехсот тысяч франков и которым нет ничего подобного на всем земном шаре, а пожалуй, и во всей вселенной.

Я самым искренним и любезным тоном поспешил уверить почтенного бриллиантщика о моем полнейшем согласии с его мудрыми и дальновидными словами. По-видимому, эта доверчивость еще более расположила его ко мне, и он спросил пониженным голосом, в котором я уловил какую-то благоговейную дрожь:

— Не хотите ли теперь взглянуть на них?

— Если это удобно и возможно для вас, то, пожалуйста, — сказал я, с трудом скрывая свое любопытство и недоумение.

Оба еврея, почти одновременно, с видом священнодействующих жрецов, вынули из боковых карманов своих длинных сюртуков два небольших футляра, — Даниэльс дубовый, а Маас красный сафьяновый; осторожно отворили золотые застежки и подняли крышки. Оба ящичка внутри были выложены белым бархатом и сначала показались мне пустыми. Только нагнувшись совсем низко над ними и внимательно приглядевшись, я заметил две круглые выпуклые стеклянные, совершенно бесцветные чечевицы такой необычайной чистоты и прозрачности, что они казались бы совсем незаметными, если бы не тонкие, круглые, геометрически правильные очертания их окружности.

— Удивительная работа! — воскликнул я, восхищенный. — Вероятно, вам очень долго пришлось трудиться над этими стеклами?

— Молодой человек! — произнес Даниэльс испуганным шепотом. — Это не стекла, а два бриллианта. Один, вышедший из моей мастерской, весит тридцать с половиною каратов, а бриллиант господина Мааса целых семьдесят четыре.

Я был так поражен, что даже потерял свою обычную хладнокровную сдержанность.

— Бриллианты? Бриллианты, принявшие сферическую поверхность? Но ведь это чудо, о котором мне ни разу не приходилось ни читать, ни слышать. Ведь ничего подобного до сих пор не было достигнуто человеком!

— Я и говорил вам, что эти вещи единственные в мире, — важно подтвердил ювелир, — но меня, простите, немного озадачивает ваше изумление. Неужели это новость для вас? Неужели вы в самом деле никогда не слыхали о них?

— Ни разу в жизни. Ведь вы сами знаете, что предприятие, которому я служу, держится в строжайшем секрете. Не только я, но и мистер Найдстон не посвящен в его подробности. Я знаю только то, что в разных местах Европы я принял части и приборы для какого-то грандиозного

сооружения, в цели и смысле которого я сам — ученый по образованию — пока ровно ничего не понимаю.

Даниэльс пристально взглянул мне в глаза своими спокойными, умными глазами табачного цвета, и его библейское лицо омрачилось.

— Да… это так, — сказал он медленно и задумчиво после небольшого молчания. — По-видимому, вам известно не более, чем нам, но я сейчас только заглянул вам в душу и чувствую, что все равно, если бы вы были в курсе дела, вы, конечно, не поделились бы с нами вашими сведениями?

— Я связан словом, господин Даниэльс, — возразил я по возможности мягко.

— Да, это так… это так. Не думайте, молодой человек, что вы явились сюда, в наш город каналов и брильянтов, совершенным незнакомцем.

Еврей усмехнулся тонкой улыбкой.

— Мы знаем даже подробности о том, как вы в Берлине предложили одному известному коммерции советнику совершить воздушный полет из вашего окна.

— Неужели это могло быть кому-нибудь известно, кроме нас двоих? — удивился я. — Ну, и болтун же этот немецкий боров.

Лицо еврея сделалось загадочным. Он медлен-

но и многозначительно провел рукой по своей длинной бороде.

— Представьте себе, немец никому не говорил о своем позоре. Но мы узнали об этом происшествии на другой день. Что делать! Нам, у которых в блиндированных несгораемых подвалах сохраняются свои и чужие драгоценности, иногда на многие сотни миллионов франков, приходится иметь свою собственную полицию. Да. А через три дня о вашем поступке узнал и мистер Найдстон.

— Этого еще недоставало! — воскликнул я в смущении.

— Вы здесь ничего не потеряли, молодой англичанин. Скорее выиграли. «Знаете, как отозвался о вас мистер Найдстон, когда узнал о берлинском случае? Он сказал: „Я заранее был уверен, что этот славный малый Диббль иначе и не мог бы поступить“». И я, с своей стороны, могу только поздравить мистера Найдстона и его главного доверителя с тем, что их интересы попали в такие верные руки. Хотя… хотя… Хотя все это разрушает мои некоторые соображения, планы и надежды…

— Да, — подтвердил немногословный Маас.

— Да, — повторил тихо библейский Даниэльс,

и снова лицо его заволоклось грустью. — Нам привезли эти брильянты почти в том же самом виде, в каком вы их теперь рассматриваете, но их поверхности, только что вынутые из матриц, были грубы и неровны. Мы отшлифовали их так терпеливо и любовно, как не сделали бы этого по заказу любого императора в мире. Вернее сказать, что лучше невозможно было сделать. Но мне, старику, старому профессионалу и одному из лучших знатоков камней на свете, — мне уже давно не дает покоя проклятый вопрос: кто мог придать алмазу такую форму? И притом взгляните, — вот вам лупа, — ни трещинки, ни пятнышка, ни пузырька внутри. До какой, однако, температуры были доведены эти цари камней и какому чудовищному давлению они потом подвергались. И я, — вздохнул грустно Даниэльс, — и я должен признаться, что очень сильно рассчитывал на ваш приезд и вашу откровенность.

— Простите, мне очень жаль, что я не в состоянии…

— Оставьте. Я знаю. Ну, желаем вам счастливого пути. Вечером мой пароход отошел от Амстердама. Посланные со мной агенты вели себя так умело, что я действительно мог подозревать в любом пассажире мою охрану и в то же время

не подозревать никого. Но когда к полуночи мне захотелось спать и я спустился в занятую мною каюту, то, к своему удивлению, нашел там бородатого, широкоплечего незнакомца, которого я раньше не видел на палубе. Он расположился не на запасной койке, а прямо на полу, у дверей, подостлав под себя пальто, положив под голову надувную резиновую подушку и покрывшись пледом. Не без сдерживаемого гнева я заметил ему, что вся каюта, со всеми местами и со всем кубическим содержанием воздуха, принадлежит мне. Но он возразил мне спокойно и на хорошем английском языке:

— Не волнуйтесь, сэр. Моя обязанность — провести эту ночь около вас на положении верного дога. Кстати, вот вам письмо и пакетик от господина Даниэльса.

Старый еврей писал коротко и любезно:

«Не откажите мне в маленьком удовольствии: примите на память о нашей встрече прилагаемое кольцо. В нем нет большой ценности, но это амулет, предостерегающий от морской опасности. Надпись на нем древняя, едва ли не на языке вымерших инков.

Даниэльс».

В пакетике было кольцо с небольшим плоским рубином, на поверхности которого были вырезаны диковинные знаки.

А мой «дог» запер каюту на ключ, положил около себя револьвер и, по-видимому, мгновенно заснул.

— Благодарю вас, дорогой мистер Диббль, — говорил мне через день мистер Найдстон, крепко пожимая мою руку. — Вы прекрасно справились со всеми поручениями, порою довольно сложными, сэкономили много времени и вдобавок держали себя с надлежащим достоинством. Теперь в продолжение недели отдыхайте и развлекайтесь, как хотите. В воскресенье утром мы с вами пообедаем и выедем в Саутгемптон, а утром в понедельник вы уже будете плыть через океан на борту великолепного парохода «Южный

крест». Кстати, не забудьте зайти к моему клерку и получить ваше двухмесячное жалованье и суточные деньги, а я за эти дни пересмотрю и вновь упакую накрепко весь ваш багаж. Опасно доверяться чужим рукам, а в деле упаковки деликатных вещей вряд ли во всем Лондоне найдется мне хоть один соперник.

В воскресенье я распростился с милым мистером Джоном Джонсоном и его многочисленной семьей и уехал, сопровождаемый общими теплыми напутствиями. А в понедельник утром мы с мистером Найдстоном сидели в роскошной каюткомпании гигантского парохода «Южный крест» в ожидании отплытия и пили кофе. По океану разгуливал довольно свежий ветер, и зеленые волны с белыми пенными гребнями бились о крепкие круглые стекла иллюминаторов.

— Я должен вас предупредить, мой милый, что вы поедете не один, — говорил мистер Найдстон. — С вами вместе отправляется некий мистер де Мон де Рик. Он по образованию электротехник и механик, за ним несколько лет безукоризненной практики, и я слышал о нем самые лестные отзывы, как о работнике. Мне лично этот парень не по сердцу, но очень может быть, что в данном случае во мне говорит

ошибочная беспричинная антипатия, попросту — старческий каприз. Его отец был французом, принявшим английское подданство, а мать ирландка, но в нем самом, в его жилах, очень много крови от галльского петуха. Он фат, красавец в шаблонном виде, страшно занят собой и своей наружностью и вечно трется около женских юбок. Его выбирал не я. Я только повиновался инструкциям, данным мне лордом Чальсбери, вашим будущим руководителем и наставником. Де Мон де Рик приедет минут через двадцать — двадцать пять с утренним поездом из Кардифа, и мы с вами успеем поговорить. Во всяком случае, советую вам войти с ним в ровные, хорошие отношения. Как-никак, а ведь вам придется прожить три-четыре года бок о бок черт знает в какой пустыне, на экваторе, на самой макушке потухшего вулкана Каямбэ, где вас, белых людей, будет всего пять-шесть человек, остальные же негры, метисы, индейцы и другой сброд. Вас, может, пугает такая невеселая перспектива? Помните — вы совершенно свободны. Мы сию минуту можем разорвать подписанный вами контракт и вместе возвратиться с одиннадцатичасовым поездом обратно в Лондон. И поверьте, это ничуть не уменьшит моего уважения и рас-

положения к вам.

— Нет, дорогой мистер Найдстон, я уже на Каямбэ, — возразил я, смеясь. — Я положительно стосковался по регулярному, в особенности научному труду, и когда думаю о нем, то облизываюсь, как голодный оборванец из Уайтчэпля перед колбасной лавкой. Надеюсь, что у меня будет достаточно интересной работы, чтобы я не скучал и не погрязнул в мелких дрязгах и личных ссорах.

— О да, мой дорогой, у вас будет много прекрасной и возвышенной, по своей идее, работы. Теперь наступила пора быть мне с вами откровенным, и я передам вам то немногое, что мне известно. Лорд Чальсбери вот уже девять лет трудится над неимоверным по своей грандиозности предприятием. Он во что бы то ни стало решил достигнуть возможности сгустить материю солнечных лучей в газ, и даже еще больше — сжать этот газ при страшно низкой температуре и колоссальном давлении до жидкого состояния. Если ему бог поможет довести до конца свой план, то его открытие будет прямо неизмеримо велико по своим результатам…

— Неизмеримо! — повторил я тихо, подавленный и восхищенный словами мистера Найдстона.

— Вот и все, что я знаю, — произнес стряпчий. — Нет, знаю еще из личного письма лорда Чальсбери ко мне, что теперь он более, чем когда-либо, близок к счастливому окончанию своего труда и менее, чем когда-либо, сомневается в близком разрешении своей задачи. Я должен сказать вам, дорогой друг, что лорд Чальсбери — это одно из величайших светил науки, один из гениальнейших вдохновенных умов. Кроме того, он истинный аристократ по рождению и духу, бескорыстный и самоотверженный друг человечества, терпеливый и любезный учитель, очаровательный собеседник и верный друг. И, кроме того, он человек такой обаятельной душевной красоты, которая притягивает к нему все сердца… Но вот подымается по сходне и ваш спутник, — вдруг круто оборвал свою восторженную речь мистер Найдстон. — Возьмите же себе этот конверт. Там ваши пароходные билеты, точный дальнейший маршрут и деньги. Вам придется плыть дней шестнадцать — восемнадцать. На другой же день вами овладеет фиолетовая тоска. На этот случай я приобрел и оставил у вас в каюте штук тридцать кое-каких книжек. Да еще среди вашего багажа вы найдете чемодан с запасом теплой одежды и обуви. Вы сами не подумали заранее о том, что

вам придется жить в такой горной полосе, где лежит вечный снег. Я старался выбрать вещи по вашей мерке, но так как боялся сделать ошибку, то предпочел более широкие, чем узкие. Там же среди ваших мелочей вы найдете небольшой ящик со средствами против морской болезни. По правде, я в них не верю, но на всякий случай… Кстати, вас укачивает в море?

— Да, но не особенно мучительно. Впрочем, у меня есть талисман против всех опасностей на море.

Я показал ему рубин, подарок Даниэльса. Он внимательно рассмотрел, покачал головой и сказал задумчиво:

— Я где-то видел подобный же камень и, кажется, с совершенно одинаковой надписью. Но вот я вижу, что француз заметил нас и идет прямо сюда. От души желаю вам, дорогой Диббль, счастливого плавания, бодрости и здоровья… Здравствуйте, мистер де Мон де Рик. Познакомьтесь, господа. Мистер Диббль, мистер де Мон де Рик — будущие коллеги и сотрудники.

Мне самому тоже не особенно понравился этот франт. Он был высокого роста, худощав, изнежен и выхолен, но в то же время в его фигуре и движениях чувствовалась какая-то грациозная, ленивая

и гибкая сила, подобная той, какую мы замечаем у больших хищников кошачьей породы. Скорее всего он походил наружностью на левантинца, со своими прекрасными, влажными темными глазами и блестящими черными небольшими усами, коротко подстриженными над красным ртом античного рисунка. Мы перебросились несколькими незначительными любезными фразами. Но в это время прозвонили наверху и заревела, сотрясая палубу своим густым мощным голосом, сигнальная труба.

— Ну, теперь прощайте, господа, — сказал мистер Найдстон, — от души желаю, чтобы вы сделались друзьями. Привет лорду Чальсбери. Желаю во время переезда через океан счастливой погоды. До свидания.

Он живо спустился по сходне с парохода, сел в дожидавшийся его на пристани кеб, сделал рукой в нашу сторону последний ласковый знак и, уже не оборачиваясь, скрылся из наших глаз. Не знаю сам почему, но меня на несколько минут охватила тихая нежная грусть, как будто бы вместе с этим исчезнувшим человеком я потерял верную, дружескую опору и моральную поддержку.

Я ничего не могу припомнить значительного из дней нашего океанского перехода. Скажу толь-

ко, что эти семнадцать дней тянулись для меня, как сто семьдесят лет, но были так однообразны и скучны, что теперь издали представляются мне одним бесконечно длинным днем.

С де Мон де Риком мы встречались по нескольку раз в день за столом в кают-компании. Близких отношений между нами так и не завязалось. Он был холодно вежлив со мною, я тоже платил ему равнодушной предупредительностью, но все время я чувствовал, что его совершенно не интересует ни моя духовная личность, ни личность кого бы то ни было на свете. Зато, когда у нас случайно заходила речь о наших ученых специальностях, он прямо поражал и увлекал меня своими знаниями, смелостью и оригинальностью гипотез и, главное, удивительно точным, живописным изложением мысли.

Я пробовал читать книги, оставленные мне мистером Найдстоном. Большинство их были узконаучные сочинения, заключавшие в себе теорию света и оптических стекол, наблюдения над высокими и низкими температурами и описания опытов над сгущением и разжижением газов. Было также несколько томов описаний замечательных путешествий и две-три книжки об экваториальных странах Южной Америки.

Но читать было трудно, потому что все время дул сильный ветер и пароход качало длинными скользящими размахами. Все пассажиры отдали дань морской болезни, кроме де Мон де Рика, который, несмотря на свой длинный рост и изнеженный вид, держался до конца крепко, как старый опытный моряк.

Наконец-то мы прибыли в Аспинваль (он же Колон), на севере Панамского перешейка. Когда я вышел на берег, то ноги у меня были тяжелы и никак не хотели подчиняться моей воле. Согласно инструкциям мистера Найдстона, мы сами лично должны были следить за перевозкой нашего багажа на вокзал железной дороги и за установкой его в багажных вагонах. Самые нежные, чувствительные инструменты мы взяли с собою в купе. Драгоценные шлифованные брильянты были, конечно, при мне, но я — теперь мне стыдно в этом сознаться — не только не показал их моему спутнику, но даже не упомянул о них ни слова.

Дальнейший наш путь был утомителен и вследствие этого мало интересен. По железной дороге от Аспинваля до Панамы, от Панамы двухдневный переход на старом, зыбком пароходе «Гонзалес» до бухты Гваякиль, оттуда на лошадях и опять по железной дороге до г. Квито. В

Квито, следуя указаниям мистера Найдстона, мы разыскали гостиницу «Эквадор» и там нашли ожидавший нас караван при проводниках и погонщиках. Мы переночевали в гостинице, а ранним утром, со свежими силами, тронулись в путь, в горы. Что за умные, добрые, прелестные животные — эти мулы. Позванивая бубенчиками, мерно покачивая головами, украшенными розетками и султанами, осторожно ставя на камень узкой неровной дорожки свои длинные, стаканчиками, копыта, они спокойно идут по самому краю обрыва над такой крутизной, что невольно зажмуриваешь глаза и хватаешься за луку высокого седла.

К пяти часам вечера мы вступили в снежную полосу. Дорога расширилась и стала ровной. Видно было, что над ней трудились культурные люди. Крутые завороты были повсюду обнесены невысокими каменными перилами.

В шестом часу, когда мы прошли небольшой туннель, перед нашими глазами вдруг открылось жилье: несколько белых одноэтажных домов, над которыми гордо возвышался белый купол, похожий на куполы византийских церквей и обсерваторий. Еще дальше торчали в небо железные и кирпичные трубы. Через четверть часа мы

уж были на месте.

Из дверей одного дома, который был выше и просторнее других, вышел нам навстречу высокий сухощавый старик с длинной, безукоризненно белой бородой. Он назвал себя лордом Чальсбери и с непринужденной ласковостью поздоровался с нами. Трудно было сказать по внешнему виду, сколько ему лет: пятьдесят или семьдесят пять. Его большие, немного выпуклые голубые глаза, настоящие глаза породистого англичанина, были юношески ясны, блестящи и зорки. Пожатие его руки было мужественно, тепло и откровенно, а высокий обширный лоб отличался изящно очерченными и благородными линиями. И когда, любуясь его тонким прекрасным лицом, я отвечал на его пожатие, — в моей голове вдруг мгновенно и ярко мелькнула мысль, что где-то очень давно я видел физиономию этого человека и неоднократно слышал его фамилию.

— Я бесконечно рад вашему приезду, — говорил лорд Чальсбери, поднимаясь с нами на ступеньки крыльца. — Хорошо ли вы доехали? Как поживает мой добрый друг Вайдстон? Не правда ли, замечательный человек? Впрочем, вы, господа, расскажете мне все за обедом. Идите освежиться и привести себя в порядок. Вот наш метрдотель,

почтенный Самбо, — указал он на рослого старого негра, встретившего нас в передней. — Он покажет вам ваши комнаты. Ровно в семь мы обедаем, об остальном распределении времени вам расскажет Самбо.

Почтенный Самбо весьма любезно, но без всякой тени рабской искательности, проводил нас к небольшому дому рядом. Каждому из нас были приготовлены по три комнаты, — простые, но в то же время как-то особенно уютные, светлые, веселые. Помещения наши были разделены каменной стеной, и на каждое приходился отдельный ход. Это обстоятельство почему-то мне было приятно.

С неописуемым наслаждением погрузился я в огромную мраморную ванну (на пароходе благодаря качке я был лишен этого удовольствия, а в гостиницах Аспинваля, Панамы и Квито ванны не внушили бы своей чистотой доверия, даже моему другу Джону Джонсону). И во все время, пока я нежился в теплой воде, брал холодный душ, брился, и потом одевался с особою тщательностью, меня не переставала преследовать мысль: почему мне так знакомо лицо лорда Чальсбери? И что такое, почти сказочное, как мне казалось, я давно-давно слышал о нем? Временами где-то в

затаенном углу моего сознания скользило неясное предчувствие, что вот-вот сейчас я вспомню, но оно тотчас же исчезало, подобно тому, как сбегает легкий след дыхания с поверхности полированной стали.

Из окон моего кабинета был виден весь этот оригинальный поселок с пятью или шестью домами, с конюшнями и оранжереями, с низкими закопченными машинными зданиями, с массой воздушных проводов, с вагонетками, влекомыми по узким рельсам бойкими выхоленными мулами, с паровыми кранами, переносившими высоко и плавно по воздуху железные чаны, беспрерывно наполняемые из ряда штабелей каменным углем и горючим сланцем. Там и сям сновали рабочие, большинство из них полуголые, несмотря на температуру —5°, которую показывал термометр, привинченный снаружи моего окна, и почти все разных цветов: белого, желтого, бронзового, кофейного и блестяще-черного.

Я смотрел и думал: какая же, однако, пламенная воля и какое колоссальное богатство могли обратить бесплодную вершину потухшего вулкана в настоящее культурное место, в завод, мастерскую и лабораторию, поднять на высоту вечных снегов камни, деревья и железо, провести воду,

построить дома и машины, завести драгоценные физические инструменты, из которых только две привезенные мною чечевицы стоят миллион триста тысяч франков, нанять десятки рабочих, пригласить дорогостоящих помощников… Опять в моем воображении четко встал образ лорда Чальсбери, и вдруг — стоп! — внезапный свет озарил мою память. Я очень точно вспомнил, как пятнадцать лет тому назад, когда я был еще зеленым учеником лицея, все газеты в течение целого месяца трубили на разные лады о необычайном таинственном исчезновении лорда Чальсбери, пэра Англии, единственного представителя древнейшего рода, знаменитого ученого и миллионера. Повсюду печатались его портреты и комментировались причины этого странного события. Одни объясняли его убийством лорда Чальсбери, другие тем, что он попал под влияние злодея-гипнотизера, для преступных целей заставившего лорда уехать из Англии, скрыв свои следы; третьи предполагали, что лорд находится в руках бандитов, держащих его в плену в расчете на громадный выкуп, четвертые, и наиболее догадливые, уверяли, что ученым секретно предпринята экспедиция к Северному полюсу.

Вскоре стало известным, что до своего ис-

чезновения лорд Чальсбери очень выгодно ликвидировал и обратил в деньги, очевидно, руководимый чьим-то тонким дальновидным финансовым умом, все свои земли, леса, парки, фермы, угольные и каолиновые копи, дворцы, картины и коллекции. Но куда девались эти огромные суммы, никому не было известно. Также с его исчезновением пропали, неизвестно куда, знаменитые фамильные алмазы рода Чальсбери, алмазы, которыми по справедливости могла гордиться вся Англия. Никакие розыски полиции и добровольных сыщиков не осветили этого странного дела. Через два месяца пресса и общество забыли о нем, поглощенные другими животрепещущими интересами. Только ученые журналы, посвятившие много страниц памяти пропавшего лорда, долго еще перечисляли с проникновенным вниманием и благоговейной почтительностью его великие заслуги перед наукой в областях, касающихся света и теплоты, в частности расширения и сгущения газов, термостатики, термометрии и термодинамики, преломления световых лучей, теории оптических стекол и фосфоресценции.

Извне раздался протяжный, заунывный звон гонга. И почти тотчас же в мою дверь постучался

и вошел маленький, веселый, ловкий, как обезьяна, мальчик-негритенок и, кланяясь мне, с дружелюбной улыбкой доложил:

— Мистер, я назначен лордом в ваше распоряжение. Не угодно ли вам, сэр, отправиться к обеду?

В моей гостиной на столе в фарфоровой вазе стоял небольшой изящный букет цветов. Я выбрал гардению и продел ее в петлицу смокинга. Но одновременно со мною вышел из своих дверей мистер де Мон де Рик. В петлице его фрака скромно красовалась ромашка. Какое-то смутное чувство недовольства шевельнулось во мне. И должно быть, в то давнее время во мне много еще было юношеской, мелочной вздорности, потому что я очень утешился тем, что встретивший нас в гостиной лорд Чальсбери был не во фраке, а, подобно мне, в смокинге.

— Сейчас выйдет леди Чальсбери, — сказал он, посмотрев на часы. — Я предлагаю вам, джентльмены, собираться для обеда у меня. Во время обеда и после него у нас всегда найдутся два-три часа свободного времени для разговора о деле и безделье. Кстати, здесь же к вашим услугам есть библиотека, кегельбан и бильярд с курильной. Ими, как и всем, что я имею, прошу вас пользо-

ваться по вашему усмотрению. Что же касается утреннего завтрака и ленча, то в этом отношении предоставлю вам полную свободу. Впрочем, то же относится и к обеду. Но я знаю, как ценно и плодотворно для молодых англичан дамское общество, и потому... — Он встал и указал на дверь, через которую в эту минуту входила стройная, молодая, золотоволосая дама в сопровождении другой особы женского пола, плоскогрудой и желтой, одетой во все черное. — Потому, леди Чальсбери, я имею честь и удовольствие представить вам моих будущих сотрудников и, надеюсь, друзей — мистера Диббля и мистера де Мон де Рика.

— Мисс Соутни, — обратился он к увядшей спутнице своей жены (она потом оказалась дальней родственницей и компаньонкой леди Чальсбери), — это мистер Диббль, а это мистер де Мон де Рик. Прошу не отказать им в вашей любезности и внимании.

За обедом, одинаково простым и изысканным, лорд Чальсбери оказался самым радушным хозяином и прекрасным собеседником. Он с живостью расспрашивал нас о политике, о последних газетных и научных новостях, о здоровье и жизни того или другого крупного общественного деятеля. Впрочем, как это ни странно, он оказался в этих

предметах гораздо осведомленнее нас обоих. Кроме того, надо сказать, что его погреб оказался выше всяких похвал.

Я изредка, украдкой, быстро поглядывал на леди Чальсбери. Она почти не принимала участия в разговоре и только изредка медленно поднимала темные ресницы в сторону говорившего. Она была на много, даже очень на много лет моложе своего мужа. Странной, нездоровой красотой было красиво ее бледное, не тронутое экваториальным загаром лицо, в рамке густых золотых волос, с темными, глубокими, серьезными, почти печальными глазами. И вся она своей наружностью, своей стройной, очень тонкой фигурой в белом газе, нежными белыми руками с длинными узкими пальцами напоминала какой-то редкий, прекрасный, а может быть, и ядовитый экзотический цветок, выращенный без света, во влажной темной теплице.

Но я также заметил во время обеда, что и де Мон де Рик, сидевший напротив меня, часто останавливал на хозяйке ласковый и значительный взгляд своих прекрасных глаз, взгляд, задерживавшийся, может быть, только на полсекунды дольше, чем это требуется приличием. Все мне в нем становилось более и более неприятным:

изнеженная выхоленность лица и рук, томные и сладкие, какие-то обволакивающие глаза, самоуверенность поз, движений, интонаций. На мой мужской взгляд он казался противным, но я и тогда ни на минуту не сомневался в том, что в нем совокупились черты и качества настоящего, призванного от рождения, жестокого и не разборчивого в средствах покорителя женских душ. После обеда, когда все перешли в гостиную и мистер де Мон де Рик попросил позволения пойти курить, я передал лорду Чальсбери футляр с брильянтами и сказал:

— Это от Мааса и Даниэльса из Амстердама.

— Вы везли их при себе?

— Да, сэр.

— И прекрасно сделали. Эти два камушка для меня дороже всей моей лаборатории.

Он ушел в свой кабинет и вернулся оттуда с восьмисильной лупой. Долго и внимательно рассматривал он брильянты на свет электрической лампы и, наконец, укладывая их обратно в футляр, сказал довольным тоном, хотя без всякого волнения:

— Шлифовка прямо безукоризненна. Она идеально точна. Сегодня вечером я проверю инструментами размеры чечевиц и кривизну их

поверхностей. Завтра же утром, мистер Диббль, мы закрепим их на место. До десяти часов я займусь с вашим товарищем, мистером де Мон де Риком, покажу ему все его будущее хозяйство, а в десять прошу вас ждать меня у себя дома. Я зайду за вами. Ах, дорогой мистер Диббль, я предчувствую, как мы с вами дружно двинем вперед одно из самых величайших дел, когда-либо предпринятых величайшим существом — Homo sapiens[6].

Когда он говорил, то глаза его горели голубым огнем, а руки ласково поглаживали крышку футляра. А жена пристально смотрела на него глубоким, темным, бездонным взором.

На другой день, ровно в десять часов, у моей двери раздался звонок, и шустрый негритенок, кланяясь до земли, впустил лорда Чальсбери.

— Вы готовы. Я очень рад, — сказал патрон, здороваясь со мной. — Вчера я пересмотрел привезенные вами вещи, и они все оказались в блестящем порядке. Благодарю вас за внимание и заботу.

— Три четверти этой чести, если не больше, сэр, по совести принадлежат мистеру Найдстону.

---

[6] Примечания: 6
Мыслящим человеком *(лат.)*

— Да, это прекрасный человек и верный друг, — заметил со светлой улыбкой лорд. — А теперь, если вас ничто не задерживает, может быть, мы с вами пройдем в лабораторию?

Лабораторией оказалось массивное, круглое, похожее на башню, белое здание, увенчанное тем самым куполом, который вчера первый бросился мне в глаза по выходе из туннеля.

Не раздеваясь, прошли мы сквозь маленькую переднюю, слабо освещенную одной электрической лампочкой, и затем очутились в совершенной темноте. Но лорд Чальсбери щелкнул где-то вблизи меня электрическим выключателем, и яркий свет мгновенно залил огромную, совершенно круглую залу с поднимавшимся над нею правильным сферическим куполом сажен семи или восьми высотою. Посредине залы возвышалось нечто похожее на небольшую стеклянную комнату, вроде тех изолирующих врачебный персонал комнат, что недавно стали устраивать в университетских медицинских клиниках посреди операционных зал, на случай тяжких и сложных операций, требующих особенно строгой чистоты и полной дезинфекции воздуха. От этой стеклянной камеры, занятой странными, не виданными мною приборами, поднимались

вверх три солидных медных цилиндра. На высоте около двух человеческих ростов каждый из этих цилиндров как бы разветвлялся на три, более широкого диаметра, трубы; те, в свою очередь, тоже утраивались, а верхние концы последних медных, массивных труб упирались вплотную в самый верх, в выгнутую стену купола. Множество манометров, рычагов, круглых и прямых стальных рукояток, вентилей, изолированных проволок и гидравлических прессов довершали обстановку этой необыкновенной, совсем ошеломившей меня лаборатории. Крутые винтовые лестницы, железные столбы и стропила, воздушные узкие с тонкими поручнями мостки, переброшенные здесь и там высоко вверху, электрические висячие фонари, множество спускавшихся вниз толстых гуттаперчевых шлангов и длинных медных трубочек — все это переплеталось между собою, утомляло глаз и производило впечатление хаоса.

Точно угадав мое настроение, лорд Чальсбери заговорил спокойно:

— Когда человек впервые увидит незнакомый механизм, вроде механизма часов или швейной машины, он сначала опускает руки перед их сложностью. Когда я первый раз увидел разобран-

ный на части велосипед, то мне казалось, что никакой самый мудрый механик в мире не сможет его собрать. А через неделю я его сам собирал и разбирал, удивляясь простоте его конструкции. Будьте же добры, терпеливо выслушайте мои объяснения. Если чего-нибудь не схватите сразу, не стесняйтесь предлагать мне сколько угодно вопросов. Это для меня будет только приятно.

Итак, в крыше здания проделано двадцать семь близко расположенных друг к другу отверстий. А в эти отверстия вставлены цилиндры, которые вы видите на самом верху, выходящие на воздух двояковыпуклыми стеклами громадной собирательной силы и великолепной прозрачности. Теперь, наверно, вы и сами понимаете идею? Мы собираем солнечные лучи в фокусы и затем благодаря целому ряду зеркал и оптических стекол, сделанных по моим чертежам и вычислениям, проводим их, то собирая, то рассеивая, через всю систему труб, пока самые нижние трубы не вольют концентрированную струю солнца вот сюда, под изолированный колпак, в самый узкий и прочный цилиндр из ванадиевой стали, в котором двигается целая система поршней, снабженных затворами, наподобие фотографических, абсолютно не пропускающих света, когда

они закрыты. Наконец к свободному концу этого главного внутреннего защищенного цилиндра я герметически привинчиваю приемник в виде колбы, в горлышке которой также имеются несколько затворов. Когда мне понадобится, я прекращаю действие затворов, затем изнутри, механически, ввожу в горлышко колбы винтовую втулку и свинчиваю весь приемник с конца цилиндра, и вот у меня готово превосходное хранилище солнечной сгущенной эманации.

— Значит, Гук, и Эйлер, и Юнг?..

— Да, — прервал меня лорд Чальсбери, — и они, и Френель, и Коши, и Малюс, и Гюйгенс, и даже великий Араго — все они ошибались, рассматривая явление света как одно из состояний мирового эфира. И это я докажу вам через десять минут самым наглядным образом. Правыми все-таки оказались мудрый старый Декарт и гений из гениев, божественный Ньютон. Труды Био и Брюстера в этом направлении лишь поддержали и укрепили меня в изысканиях, но гораздо позднее, чем я их начал. Да! Теперь для меня ясно, а скоро и для вас будет несомненным, что солнечный свет есть плотный поток страшно малых, упругих тел, вроде мячиков, которые со страшной силой и энергией несутся в пространство, пронизывая

в своем стремлении массу мирового эфира… Впрочем, о теории после. Теперь я, для того чтобы быть последовательным, покажу вам манипуляции, которые вы должны будете производить ежедневно. Выйдем наружу.

Мы вышли из лаборатории, поднялись по винтовой лестнице почти на вершину купола и очутились на легкой сквозной галерее, обвивавшей спиралью в полтора оборота всю сферическую крышу.

— Вам не надо трудиться открывать поочередно все крышки, предохраняющие нежные стекла от пыли, снега, града и птиц, — сказал лорд Чальсбери. — Тем более что это, пожалуй, не под силу даже и атлету. Просто вы поворачиваете к себе этот рычаг, и все двадцать семь обтюраторов поворачиваются своими гуттаперчевыми кольцами в соответствующих кругообразных пазах в сторону, обратную движению часовой стрелки, — словом, так, как отвинчивают все винты. Теперь крышки стекол освобождены от давления. Вы нажимаете вот эту небольшую ножную педаль. Глядите!

Кляк! И двадцать семь крышек, металлически щелкнув, мгновенно раскрылись внаружу, открыв засверкавшие на солнце стекла.

— Каждое утро вы, мистер Диббль, — продолжал ученый, — должны будете открывать чечевицы и тщательно чистой замшей вытирать их. Поглядите, как это делается.

И он, точно привычный рабочий, ловко, внимательно, почти любовно протер все стекла кусками замши, которую достал из бокового кармана, завернутой в папиросную бумагу…

— Теперь пойдемте вниз, — продолжал он, — я вам покажу ваши дальнейшие обязанности.

Внизу в лаборатории он продолжал свои объяснения:

— Затем вы должны «поймать солнце». Для этого вы ежедневно в полдень проверяете вот эти два хронометра по солнцу. Кстати, они вчера мною уже проверены. Способ вам, конечно, известен. Узнайте, который теперь час. Определите среднее время: десять часов тридцать одна минута десять секунд. Вот три кривых рычага: большой — часовой, средний — минутный, малый — секундный. Глядите: поворачиваю большой круг до тех пор, пока стрелка индикатора не покажет десяти часов. Готово. Ставлю средний рычаг немного вперед, с запасом на тридцать шесть минут. Есть. Перевожу малый — это моя личная фантазия — еще на пятьдесят

секунд. Теперь вставляю вот этот штепсель в гнездо. Вы слышите, как внизу под вами шипят и скрежещут шестерни. Это приходит в движение часовой завод, который заставляет всю лабораторию, вместе с ее куполом, инструментами, стеклами и с нами обоими, следовать неуклонно за движением солнца. Смотрите на хронометр, мы приближаемся к десяти часам тридцати минутам. Еще пять секунд. Дошли. Слышите, как звук часового завода изменился? Это вступают в ход минутные шестерни. Еще несколько секунд… Внимание! Момент! Теперь новый звук, тонко и отчетливо отбивающий секунды. Конец. Солнце поймано. Но дело далеко не кончено. По своей громоздкости и вполне понятной грубости этот часовой завод не может быть особенно точным. Поэтому как можно чаще заглядывайте на этот циферблат, указывающий его ход. Здесь часы, минуты, секунды; вот регулятор — вперед, назад. А по хронометрам, чрезвычайно точным, вы уравниваете как можно чаще все круговое движение мастерской с точностью до десятой доли секунды.

Теперь солнце уже поймано нами. Но это не все. Свет должен проникать непременно сквозь безвоздушное пространство, иначе он нагреет

и расплавит все наши приборы. А в замкнутых оболочках, откуда выкачан весь воздух, свет находится почти в том же холодном состоянии, в каком он проходит через бесконечные междупланетные области, вне земной атмосферы. Поэтому: присмотритесь, — вот кнопка электромагнитной катушки. В каждом из цилиндров есть притертая втулка, и около каждой из них — стальная полоса, обмотанная проволокой. Раз. Я нажимаю на кнопку и ввожу ток. Все полосы мгновенно намагничены, и втулки вышли из своих гнезд. Теперь пускаю этим медным рычагом в действие воздушный высасывающий насос, рукава от которого, как вы видите, проведены к каждому из цилиндров. Мельчайшая пыль, микроскопические соринки выкачиваются вместе с воздухом. Присматривайте за манометром F, на нем есть красная черта, предел давления. Прислушивайтесь к акустической трубе, ведущей вниз, в насосный аппарат. Вот шипение прекратилось. Манометр переходит за красную черту. Размыкайте ток вторичным нажиманием на ту же кнопку. Стальные полосы размагничены. Втулки, повинуясь всасывающей силе пустоты, плотно втискиваются в конусообразные гнезда. Теперь свет проходит сквозь почти абсолютную

пустоту. Для точности нашей работы и этого мало. Мы обращаем всю нашу лабораторию в безвоздушный колокол. Поэтому со временем мы будем работать в водолазных скафандрах. Нам подают воздух извне по гуттаперчевым трубам и регулярно выводят его наружу отработанным. А из самой лаборатории воздух все время выкачивается мощными насосами. Понимаете ли? Вы будете в положении водолаза, с той только разницей, что у вас на спине находится баллон с сгущенным воздухом: в случае какой-нибудь катастрофы, порчи машины, разрыва подающих шлангов и мало ли чего еще — вы нажимаете на маленький клапан в шлеме, и дыхание вам обеспечено на четверть часа. Надо лишь не теряться, и вы выходите из лаборатории свежий и цветущий, как дижонская роза.

Теперь нам остается еще проверить наиболее точным образом установку труб. Каждая из них связана с другой очень прочно, но в местах их тройных соединений допущена некоторая, незначительная, в два-три миллиметра, поворотливость и возможность уклона. Таких пунктов тринадцать, и вы должны их все контролировать раза три в день сверху донизу. Поэтому пройдемте наверх. Мы поднялись по узким ступенькам

и по гибким мосткам к самому верху купола. Учитель впереди, легкой юношеской походкой, а я сзади, не без труда, от непривычки. У соединения первых трех труб он указал мне небольшую крышку, которую он отвинтил одним поворотом руки и откинул так, что она в пружинных защелках приняла строго вертикальное положение. Дно ее представляло из себя крепкое серебряное, превосходно отшлифованное зеркало с вырезанными по окружности делениями и цифрами. Три параллельные ярко-золотые полосы, тонкие, как телескопические паутинки, почти соприкасающиеся одна с другой, пересекали гладкую поверхность зеркальца.

— Это маленький колодезь, через который мы будем тайно следить за течением света. Три полосы — это три отблеска от трех внутренних зеркал. Соедините их в одну. Нет, сделайте это сами. Вот здесь вы видите три микрометрических винта для управления изменением положения чечевиц. Вот очень сильная лупа. Соедините все три световые полосы в одну, но так, чтобы общий луч пришелся на нуль. Это пустая работа. Вы скоро приучитесь исполнять ее в одну минуту. Действительно, механизм оказался очень послушным, и минуты через три я, едва прикасаясь

к нежным винтам, соединил световые полосы в одну резкую черту, на которую было почти больно смотреть, и ввел ее в тонкую насечку под нулем. Потом я закрыл крышку и завинтил ее. Следующие двенадцать контрольных колодцев я проверял уже один, без помощи лорда Чальсбери. Дело шло у меня успешнее с каждым разом. Но уже на втором этаже лаборатории у меня от яркого света так заболели глаза, что слезы невольно покатились по лицу.

— Наденьте консервы. Вот они, — сказал патрон, протягивая мне футляр.

Но от последнего цилиндра, для проверки положения которого мы вошли в изолированную камеру, я должен был отказаться. Глаза не терпели больше.

— Возьмите более темные очки, — сказал лорд Чальсбери, — у меня их заготовлено до десяти номеров. Сегодня мы заключим в главный цилиндр привезенные вами вчера чечевицы, и тогда наблюдение станет втрое затруднительнее. Хорошо. Так. Теперь я пускаю в ход внутренние поршни. Открываю кран гидравлического насоса системы Натерера. Открываю другой кран с жидкой углекислотой. Теперь внутри цилиндра температура сто пятьдесят градусов, и давление

равно двадцати атмосферам; первое показывает манометр, а второе термометр Витковского, усовершенствованный мной. В цилиндре сейчас происходит следующее: свет проходит сквозь него по вертикальной оси плотной, ослепительно-яркой струей, приблизительно в карандаш толщиною. Поршень, приводимый в движение электрическим током, раскрывает и закрывает свой внутренний затвор в одну стотысячную секунды, то есть почти в один момент. Поршень посылает свет дальше, сквозь небольшую, очень выпуклую чечевицу. Из последней световая струя выходит еще более плотной, более тонкой и более яркой. Таких поршней и таких чечевиц в цилиндре пять. Под давлением последнего, самого маленького и самого прочного поршня, тонкая, как иголка, струя света вонзается в приемник, проходя последовательно через три его затвора или, вернее, шлюза.

Вот основа моего собирателя жидкого солнца, — сказал торжественно учитель. — И, чтобы устранить в вас всякую тень сомнения, мы сейчас произведем опыт. Нажмите кнопку А. Это вы прекратили ход поршня. Подымите вверх этот медный рычаг. Теперь закрылись наружные крышки собирательных стекол в куполе здания.

Поверните вправо до отказа красный вентиль и опустите вниз рукоятку С. Прекращено давление и приток углекислоты. Остается завинтить изнутри колбу. Это достигается десятью поворотами маленького круглого рычажка. Все кончено, дорогой мой; следите теперь за тем, как я отвинчиваю приемник от цилиндра. Вот он у меня в руках. В нем не более двадцати фунтов. Его внутренние затворы изолируются микрометрическими винтами снаружи. Я открываю во всю ширину отверстия первый, самый большой затвор. Затем средний. Последний я отворю всего на диаметр величиною в половину микрона. Но прежде пойдите и закройте выключатель электрического освещения.

Я повиновался, и в зале наступила непроницаемая темнота.

— Внимание! — услышал я из другого конца лаборатории голос лорда Чальсбери. — Открываю!

Необычайный золотистый свет, нежный, рассеянный, точно призрачный, вдруг разлился по зале, мягко, но четко осветив ее стены, и блестящие приборы, и фигуру самого учителя. В тот же момент я почувствовал на лице и на руках нечто вроде теплого дыхания. Явление это продолжалось не более секунды, секунды с половиной.

Потом густая мгла скрыла от меня все предметы.

— Дайте свет! — крикнул лорд Чальсбери, и я опять увидел его, выходящего из дверей стеклянного колпака. Лицо его было бледно и дышало отражением счастья и гордости.

— Это только первые шаги, первые ученические попытки, первые семена, — говорил он возбужденно. — Это еще не солнце, сгущенное в газ, а всего лишь уплотненная невесомая материя. Я целыми месяцами нагнетал солнце в мои хранилища, но ни одно из них не стало тяжелее кончика человеческого волоса. Вы видели этот чудесный, ровный, ласкающий свет. Верите вы теперь в мою задачу?

— Да, — ответил я горячо, с глубоким убеждением. — Верю и преклоняюсь перед величием человеческого гения.

— Но мы с вами пойдем дальше. Еще дальше! Мы доведем температуру внутри цилиндра до минус двести семьдесят пять градусов, до абсолютного нуля. Мы возвысим гидравлическое давление до тысячи, двадцати, тридцати тысяч атмосфер. Мы заменим наши восьмидюймовые верхние лучесобиратели могучими пятидесятидюймовыми. Мы расплавим по найденному мною способу фунты, пуды алмазов, сплавим их

в чечевицы нужной нам кривизны и вставим в наши светопроводные трубы!.. Может быть, я не доживу до того времени, когда люди сожмут солнечные лучи до жидкого состояния, но я верю и чувствую, что сгущу их до плотности газа. Мне бы только увидеть, что стрелка электрических часов подвинулась хоть на один миллиметр влево, — и я буду безмерно счастлив. Однако время бежит. Пойдем завтракать, а перед обедом займемся установкой новых алмазных чечевиц. С завтрашнего дня начнем втягиваться в работу. Одну неделю вы будете при мне в качестве обыкновенного рабочего, в качестве простого, послушного исполнителя. Через неделю мы поменяемся ролями. На третью неделю я вам дам помощника, которого вы при мне научите всем приемам с аппаратами. Потом я предоставлю вам полную свободу. Я верю вам, — сказал он живо, с очаровательной, прелестной улыбкой и протянул мне руку. Мне очень памятен остался вечер этого дня и обед у лорда Чальсбери. Леди была в красном шелковом платье, и ее красный рот на бледном, немного усталом лице рдел, как пурпуровый цветок, как раскаленный уголь. Де Мон де Рик, с которым я впервые за этот день увиделся за столом, был свеж, красив и изящен,

как никогда ни прежде, ни потом, между тем как я чувствовал себя утомленным и переполненным сверху донизу наплывом нынешних впечатлений. Я подумал было сначала, что ему выпала на сегодня привычная, нетрудная, наблюдательная работа. Но, однако, не я, а леди Чальсбери первая обратила внимание на то, что левая рука электротехника перевязана выше кисти марлевым бинтом. Де Мон де Рик очень скромно рассказал о том, как сполз с вала слишком слабо натянутый приводный ремень и как, падая, он оцарапал руку с наружной стороны. Вообще он в этот вечер владел разговором, но владел очень мило, с большой тактичностью. Он рассказывал о своих путешествиях в Абиссинию, где разыскивал золото в горных долинах на границе Сахары, об охоте на львов, о последних Ипсомских скачках, о лисьих охотах на севере Англии, о вошедшем тогда в моду писателе Оскаре Уайльде, с которым он был лично знаком. У него в разговоре была одна удивительная и, вероятно, слишком редкая черта, какой я, кажется, не встречал никогда у других. Рассказывая, он был чрезвычайно эпичен: он никогда не говорил ни о себе, ни от себя. Но каким-то загадочным путем его личность, оставаясь на заднем плане, все время освещалась

то нежными, то героическими полутонами.

Теперь он глядел на леди Чальсбери гораздо реже, чем она на него. Он лишь изредка скользил по ней ласково-томными, из-под длинных опущенных ресниц, глазами. Но она почти не отрывала от него своих темных серьезно-загадочных глаз. Ее взгляд следил за движением его рук и головы, за его ртом и глазами. Странно! Она в этот вечер напомнила мне детскую игру: в чаше с водой плавает жестяная рыбка или уточка с железом во рту и безвольно, покорно тянется за магнитной палочкой, влекущей ее издали. Часто я с тревожным вниманием следил за выражением лица хозяина. Но он был безмятежно весел и спокоен. После обеда, когда де Мон де Рик отпросился курить, леди Чальсбери сама первая предложила ему сыграть партию на бильярде. Они ушли, а мы с хозяином перебрались в кабинет.

— Давайте сыграем в шахматы, — сказал он. — Вы играете?

— Неважно, но всегда с удовольствием.

— И знаете что еще? Давайте выпьемте какого-нибудь веселого ароматного вина. Он нажал кнопку звонка.

— По какому-нибудь поводу? — спросил я.

— Вы угадали. Потому, что мне кажется, что я

нашел в вашей особе моего помощника, и если будет угодно судьбе, то и продолжателя моего дела!

— О сэр!

— Погодите. Какой напиток вы больше всего предпочитаете?

— Мне, право, стыдно сознаться, что я ни в одном из них ничего не понимаю.

— Хорошо, в таком случае я назову вам четыре напитка, которые я люблю, и пятый, который я ненавижу. Бордосские вина, портвейн, шотландский эль и вода. А не терплю я шампанского. Итак, выпьем шато-ля-роз. Почтенный Самбо, — приказал он безмолвно дожидавшемуся метрдотелю, — итак, бутылку шато-ля-роз.

Играл лорд Чальсбери, к моему удивлению, почти плохо. Я быстро сделал шах и мат его королю. После первой партии мы бросили играть и опять говорили о моих утренних впечатлениях.

— Послушайте, дорогой Диббль, — сказал лорд Чальсбери, кладя на кисть моей руки свою маленькую, горячую, энергичную руку. — И я и вы, конечно, много раз слыхали о том, что настоящее правильное мнение о человеке создается в наших сердцах исключительно по первому взгляду. Это, по-моему, глубочайшая неправда. Множество раз мне приходилось видеть людей с лицами

каторжников, шулеров или профессиональных лжесвидетелей, — кстати, вы увидите через несколько дней вашего помощника, — и они потом оказывались честными, верными в дружбе, внимательными и вежливыми джентльменами. С другой же стороны, очень нередко, обаятельное, украшенное сединами и цветущее старческим румянцем, благодушное лицо и благочестивая речь скрывали за собой, как оказывалось впоследствии, такого негодяя, что перед ним любой лондонский хулиган являлся скромной овечкой с розовым бантиком на шее. Вот теперь я и прошу вас, если можете, помогите мне разобраться в моем затруднении. Мистер де Мон де Рик до сих пор ни на йоту не посвящен в смысл и значение моих научных изысканий. Он по своей матери приходится мне дальним родственником. Мистер Найдстон, который знает его с детства, однажды сообщил мне, что де Мон де Рик находится в чрезвычайно тяжелом (только не в материальном смысле) положении. Я тотчас же предложил ему место у меня, и он за него ухватился с такой радостью, которая ясно свидетельствовала об его крайнем положении. Я кое-что слыхал о нем, но слухам и сплетням не верю. На меня лично он произвел такое впечатление, как будто не

произвел совсем никакого впечатления. Может быть, я вижу первого такого человека, как он. Но мне почему-то кажется, что я видал таких уже миллионы. Я сегодня следил за ним на деле. По-моему, он ловок, знающ, находчив и работящ. Кроме того, он хорошо воспитан, умеет держать себя в любом, как мне кажется, обществе, притом энергичен и умен. Но в одном отношении какое-то странное колебание овладевает мной. Скажите мне откровенно, милый мистер Диббль, ваше мнение о нем.

Этот неожиданный и неделикатный вопрос покоробил и смутил меня; по правде сказать, я совсем не ожидал его.

— Но, право, я не знаю, сэр. Я, вероятно, знаком с ним меньше, чем вы и мистер Найдстон. Я увидал его впервые на борту парохода «Южный крест», а во время пути мы чрезвычайно редко соприкасались и разговаривали. Да и надо сказать, что меня мучила качка в продолжение всего перехода. Однако из немногих встреч и разговоров я вынес о нем приблизительно такое же впечатление, как и вы, сэр: знание, находчивость, энергия, красноречие, большая начитанность и… несколько странная, но, может быть, чрезвычайно редкая смесь сердечного хладнокровия с пылкостью

головного воображения.

— Так, мистер Диббль, так. Прекрасно, Почтенный мистер Самбо, принесите еще бутылку вина, и затем вы свободны. Так. Иной характеристики я от вас почти и не ожидал. Но я еще раз возвращаюсь к моему затруднению: открыть ли ему или не открыть все то, чему вы сегодня были свидетелем и слушателем? Представьте, что пройдет два года или год, а даже, может быть, и меньше, и вот ему, денди, красавцу, любимцу женщин, вдруг надоест пребывание на этом чертовском вулкане. По-моему, в этом случае он не прибегнет ко мне за благословением и разрешением. Он просто-напросто в одно прекрасное утро уложит свои вещи и уедет. Что я останусь без помощника, и очень дорогого помощника, — это вопрос второстепенный, но я не ручаюсь, что он, приехав в Старый Свет, не окажется болтуном, может быть, даже совершенно случайным болтуном.

— О, неужели вы этого боитесь, сэр?

— Говорю вам искренно — боюсь! Я боюсь шума, рекламы, нашествия интервьюеров. Я боюсь того, что какой-нибудь влиятельный, но бездарный ученый рецензент и обозреватель, основывающий свою известность на постоянном хулении новых идей и смелых начинаний, повер-

нет в глазах публики и мою идею, как праздный вымысел, как бред сумасшедшего. Наконец, я еще больше боюсь того, что какой-нибудь голодный выскочка, жадный неудачник, бездарный недоучка схватит мою мысль нюхом на лету, заявит, как это бывало уже тысячи раз, о случайном совпадении открытий и унизит, опошлит и затопчет в грязь то, что я родил в муках и восторге. Надеюсь, что вы понимаете меня, мистер Диббль?

— Совершенно, сэр.

— Если это будет так, то я и мое дело погибли. Впрочем, что значит маленькое «я» в сравнении с идеей? Я твердо уверен в том, что в первый вечер, когда в одной из громадных лондонских аудиторий я прикажу погасить электричество и ослеплю десять тысяч избранной публики потоками солнечного света, от которого раскроются цветы и защебечут птицы, — в тот вечер я приобрету миллиард для моего дела. Но пустяк, случайность, незначительная ошибка, как я вам уже говорил, способны роковым образом умертвить самое бескорыстное и самое великое дело. Итак, я спрашиваю ваше мнение, довериться ли мистеру де Мон де Рику или оставить его в фальшивом и уклончивом неведении. Это дилемма, из которой я не могу сам выйти без посторонней

помощи. В первом случае возможность всемирного скандала и краха, а во втором — верный путь к возбуждению в человеке благодаря недоверию чувств озлобления и мести. Итак, мистер Диббль?..

Мне напрашивался на язык простой ответ: «Отправьте завтра же этого Нарцисса со всем почетом ко всем чертям, и вы сразу успокоитесь». Теперь я глубоко жалею, что дурацкая деликатность помешала мне подать этот совет. Вместо того чтобы так поступить, я напустил на себя холодную корректность и ответил:

— Надеюсь, сэр, что вы не рассердитесь на меня за то, что я не возьмусь быть судьей в таком сложном деле?

Лорд Чальсбери пристально поглядел на меня, печально покачал головой и сказал с невеселой усмешкой:

— Давайте допьем вино и пройдемте в бильярдную. Я хочу выкурить сигару.

В бильярдной мы увидали следующую картину. Де Мон де Рик стоял, опершись локтями на бильярд, и что-то оживленно рассказывал, а леди Чальсбери, прислонившись к облицовке камина, громко смеялась. Это меня гораздо более поразило, чем если бы я увидал ее плачущей. Лорд

Чальсбери заинтересовался причиной смеха, и когда де Мон де Рик повторил свой рассказ об одном тщеславном снобе, который из желания прослыть оригиналом завел себе ручного леопарда и потом три часа сидел на чердаке от страха перед животным, мой патрон громко, совсем по-детски рассмеялся…

Все в мире самым странным образом сцепляется.

В этом вечере также неисповедимыми путями сошлись вступление, завязка и трагическая развязка наших существовании.

Первые два дня моего пребывания в Каямбэ для меня памятны до мелочей, но остальное, чем ближе к концу, тем туманнее. С тем большим основанием я теперь прибегаю к помощи моей записной книжки. В ней морская вода выела первые и последние страницы, а частью и середину. Но кое-что я могу, хотя и с большим трудом, восстановить. Итак:

11 декабря. Сегодня мы ездили с лордом Чальсбери в Квито верхом на мулах за медными гальванизированными проводами. Случайно зашел разговор о материальной обеспеченности нашего дела (причиной его вовсе не было мое праздное любопытство). Лорд Чальсбери,

который уже давно, как мне кажется, дарит меня своим доверием, вдруг быстро повернулся на седле лицом ко мне и спросил неожиданно:

— Ведь вы знаете мистера Найдстона?

— Конечно, сэр.

— Не правда ли, прекрасный человек?

— Превосходный.

— И не правда ли, в деловом смысле сухой и немного формалист?

— Да, сэр. Но также и со способностью к большому душевному подъему и даже к пафосу.

— Вы наблюдательны, мистер Диббль, — ответил учитель. — Да, так знайте же, что этот чудак вот уже в продолжение пятнадцати лет упорно, как магометанин в свою Каабу, верит в меня и мою идею. Подумайте только, он лондонский стряпчий. Он не только ничего не берет с меня за мои поручения, но недавно предложил мне распоряжаться его собственным капиталом, в случае надобности, как я захочу. А я глубоко уверен в том, что он не единственный чудак в старой Англии. Поэтому будем бодры.

12 декабря. В первый раз лорд Чальсбери обратил мое внимание на силу, которая приводит в движение часовой механизм, вращающий лабораторию по солнцу. Это наивно, просто и

остроумно. По склону кратера потухшего вулкана скользит вдоль крутых, почти отвесных рельс базальтовый окованный монолит в две тысячи пудов весом, на стальном тросе в мужскую ляжку толщиной. Эта тяжесть приводит в движение механизм. Ее работы хватает ровно на восемь часов, а рано утром старый слепой мул поднимает эту часовую гирю при помощи другого троса и системы блоков опять наверх без всякого усилия для себя.

20 декабря. Сегодня мы долго сидели с лордом Чальсбери после обеда в оранжерее среди одурманивающего запаха нарциссов, померанцев и тубероз. За последнее время патрон очень осунулся, и глаза его как будто начали терять свой прекрасный юношеский блеск. Объясняю это переутомлением, потому что мы в эти дни очень много работаем. Я уверен, что он *ни о чем* не догадывается. Он вдруг, странно поворачивая, по своему обыкновению, разговор, заговорил:

— Наша с вами работа самая бескорыстная и честная на свете. Ведь думать о счастии своих детей или внуков так вполне естественно и так эгоистично. Но мы с вами думаем о жизни и счастии человечества таких отдаленных времен будущего, в которых не будут знать не только о

нас, но и наших поэтах, королях и завоевателях, о нашем языке и религии, об очертаниях и даже названиях наших стран. «Не ближнему, а дальнему», не так ли сказал ваш теперешний любимый философ? В этом бескорыстном, чистом служении отдаленному грядущему я почерпаю свою гордую уверенность и силы.

3 января. Ездил сегодня в Квито принимать пришедшие из Лондона заказы. С мистером де Мон де Риком отношения становятся холодными, почти враждебными.

Февраль. Мы сегодня закончили работу по заключению всех наших труб в футляры с понижающими температуру растворами. Лед-соль дает —21°, твердая углекислота плюс эфир — минус 80°, кислород —118°, испарение углекислоты — 130°, атмосферическое давление мы способны, кажется, развить до бесконечности.

Апрель. Мой помощник продолжает не на шутку интересовать меня. Он, кажется, какой-то славянин. Не то русский, не то поляк и, кажется, анархист. Он интеллигент, хорошо говорит по-английски, но, кажется, предпочитает не говорить ни на каком языке, а молчать. Вот его наружность: он высок, худ, сутуловат в плечах;

волосы прямые и длинные и так падают на лицо, что лоб имеет форму трапеции, суженной кверху; нос, вздернутый кверху, с огромными, открытыми, волосатыми, но очень нервными ноздрями. А глаза у него ясные, серые, до безумия дерзкие. Он слышит и понимает все, что мы говорим о счастии будущих поколений, и часто усмехается добродушно-презрительной улыбкой, которая напоминает мне выражение лица большого старого бульдога, наблюдавшего развозившихся тойтерьеров. Но к учителю он относится — это я не только знаю, но чувствую всей душой — с безграничным обожанием. Совсем наоборот поступает мой коллега де Мон де Рик. Он часто говорит учителю об идее жидкого солнца с таким неестественным восторгом, что я вчуже краснею от стыда и боюсь, не насмехается ли электротехник над патроном. Но он ничуть не интересуется им как человеком, и самым неприличным образом и именно в присутствии его жены пренебрегает его положением мужа и хозяина дома, хотя это у него выходит, вероятно, против расчета и здравого смысла, под влиянием исказившейся воли, а может быть, и ревности.

Май. Да здравствуют три талантливых поляка — Врублевский, Ольшевский и Витковский и за-

вершивший их опыты Дэвар. Сегодня мы, обратив гелий в жидкое состояние и мгновенно уменьшив давление, довели температуру в главном цилиндре до —272°, и стрелка электрических весов впервые подвинулась не на один, а на *целых пять миллиметров.* Безмолвно, в одиночестве, я становлюсь пред вами на колени, дорогой мой наставник и учитель.

26 июня. По-видимому, де Мон де Рик поверил в жидкое солнце, и теперь — уже без слащавого заигрывания и наигранного восхищения. По крайней мере, сегодня за обедом он отличился удивительной фразой. Он сказал, что, по его мнению, жидкому солнцу предстоит громадная будущность в качестве взрывчатого вещества или приспособления для мин и огнестрельных ружей. Я возразил, правда довольно грубо, на немецком языке:

— Так говорит прусский лейтенант.

Но лорд Чальсбери возразил кратко и примирительно:

— Мы мечтаем не о разрушении, а о созидании.

27 июня. Пишу впопыхах, и руки у меня дрожат. Вчера ночью я задержался в лаборатории до двух

часов. Была спешная работа по установке охладителей. Я возвращался к себе. Очень ярко светил месяц. На мне были теплые сапоги из тюленьей кожи, и шаги мои по обледенелой дорожке не издавали никакого звука. Дорога у меня шла все время в тени. Почти у самых моих дверей я остановился, потому что услышал голоса.

— Зайдите же, дорогая Мери, ради бога, зайдите ко мне хоть на минуту. Почему вы каждый раз боитесь этого? И каждый раз убеждаетесь, что ваши страхи напрасны?

Я тотчас же увидал их обоих при ярком, южном свете луны. Он обнимал ее за талию, а ее голова покорно лежала на его плече. О, как они оба были прекрасны в это мгновение!

— Но ваш товарищ… — робко произнесла леди Чальсбери.

— Какой же он мне товарищ? — беспечно рассмеялся де Мон де Рик. — Это только скучный и сентиментальный сурок, который каждый день аккуратно ложится спать в десять часов, чтобы проснуться в шесть. Мисс Мери, идемте, умоляю вас.

И оба они, не размыкая объятий, взошли на крыльцо, освещенное голубым сиянием луны, и скрылись за дверью.

28 июня, вечером. Сегодня утром я пришел к мистеру де Мон де Рику, не принял его протянутой руки, не сел на указанный им стул и сказал ему спокойно:

— Сэр, я должен высказать вам свое мнение о вас. Я полагаю, сэр, что в том месте, где мы должны бы были с вами работать радостно и самоотверженно на пользу человечества, вы ведете себя самым недостойным и бесстыдным образом. Вчера в два часа ночи я видел, как вы вошли к себе домой.

— Вы подглядывали, негодяй? — закричал де Мон де Рик, и глаза его заблестели фиолетовым огнем, как у кошки ночью.

— Нет, я сам очутился в наиболее неприятном положении, какое только может придумать воображение. Я не выдал своего присутствия единственно из-за того, чтобы не причинить страданий не вам, а другому человеку. И это тем более дает мне право сказать вам теперь один на один, что вы, сэр, настоящий подлец и гадина.

— Вы заплатите мне за это кровью, с оружием в руках! — крикнул де Мон де Рик, вскакивая и разрывая ворот своей сорочки.

— Нет, — твердо ответил я. — Во-первых, у нас к этому нет повода, кроме того, что я назвал вас

подлецом, но без свидетелей, а второе, вот что: я нахожусь при деле огромной, мировой важности и не считаю возможным уйти от него из-за вашей дурацкой пули, пока дело не дойдет до конца. В-третьих, не проще ли вам сейчас же, захватив лишь необходимый багаж, сесть на первого попавшегося мула, спуститься вниз, в Квито, а затем прежней дорогой вернуться в гостеприимную Англию? Или и там вы украли чью-нибудь честь или чьи-нибудь деньги, господин подлец?

Он прыгнул к столу и судорожно схватил с него хлыст из гиппопотамовой кожи.

— Я изобью вас, как собаку! — заревел он.

Тогда во мне проснулась старая боксерская школа. Не давая ему опомниться, я обманул его левой рукой, а кулаком правой нанес быстрый удар в нижнюю челюсть между ухом и подбородком. Он завыл, завертелся, как волчок, и из носу у него хлынула черная кровь.

Я вышел.

29 июня.

— Отчего я сегодня не видел целый день мистера де Мон де Рика? — вдруг спросил лорд Чальсбери.

— Кажется, ему нездоровится, — ответил я, внимательно глядя в землю.

Мы сидели с ним на северном склоне вулкана. Было девять часов вечера, луна еще не всходила. Около нас стояли два негра-носильщика и мой таинственный помощник Петр. На спокойной темной синеве неба едва рисовались тонкие линии электрических проводов, установленных нами за сегодняшний день. А на большом возвышении, сооруженном из камня, покоился приемник № 6, прочно укрепленный среди базальтовых глыб и готовый каждую секунду привести в движение затворы.

— Приготовьте шнур, — приказал лорд Чальсбери, — прокатите катушку вниз, я слишком устал и взволнован, поддержите меня, помогите мне спуститься. Вот здесь как будто хорошо. И мы не рискуем ослепнуть. Подумайте, дорогой Диббль, подумайте, милый мой мальчик, сейчас мы с вами, во имя славы и радости будущего человечества, озарим весь мир солнечным светом, сгущенным в газ. Allo! Зажгите стопин.

Быстро побежала вверх огненная змея пороховой нитки и скрылась вверху над нами, за краем глубокого уступа, под которым мы сидели. Мой напряженный слух уловил мгновенное щелканье соединившихся контактов и пронзительный визг моторов. По нашим расчетам, солнечный

газ должен был выходить из кювета, рядом последовательных взрывов, приблизительно около шести тысяч в секунду. И в тот же момент над нами взошло ослепительное солнце, навстречу которому зашелестели внизу деревья, зарозовели облака, засверкали дальние крыши и окна домов города Квито и громким криком разразились наши домашние петухи в поселке.

А когда свет так же мгновенно погас, как и загорелся, учитель щелкнул секундомером, посветил на него карманным электрическим фонариком и сказал:

— Время горения одна минута одиннадцать секунд. Это настоящая победа, мистер Диббль. Ручаюсь вам, что через год мы наполним громадные резервуары жидким и густым, как ртуть, золотым солнцем и заставим его светить нам, греть нас и еще приводить в движение все наши машины.

А когда мы вернулись около полуночи домой, то мы узнали, что за наше отсутствие леди Чальсбери и мистер де Мон де Рик еще засветло, тотчас же после нашего ухода, пошли как будто для прогулки, а потом на заранее оседланных мулах спустились вниз, в Квито.

Лорд Чальсбери и тут остался верен себе. Он сказал без горечи, но с печалью и страданием:

— Ах, зачем они не сказали мне об этом, зачем ложь? Разве я не видел, что они любят друг друга? Я не стал бы им мешать.

* * *

Тут кончаются мои записки, впрочем, так попорченные водою, что я восстановил их лишь с большим трудом и не совсем ручаюсь за их точность. Да и в дальнейшем я не ручаюсь за свою память. Ведь это и всегда так бывает: чем ближе к развязке, тем путанее воспоминания.

Около двадцати пяти дней мы напряженно работали в лаборатории, наполняя все новые и новые кюветы золотым солнечным газом. За это время мы успели придумать остроумные регуляторы к нашим солнцеприемникам. Мы снабдили каждый из них часовым механизмом и таким же простым указателем времени, как у будильника. Перемещая известным образом указатели трех циферблатов, мы достигли возможности получить свет через любой промежуток времени, растянуть время его горения и его интенсивность от слабого получасового мерцания до мгновенного взрыва — все зависело от часового завода. Мы работали без увлечения, точно нехотя, но надо сказать, что этот период был самым плодотвор-

ным за все время моего пребывания на Каямбэ. Но все это окончилось внезапно, фантастично и страшно.

Однажды, в начале августа, ко мне в лабораторию зашел лорд Чальсбери, еще более усталый и постаревший, чем в предыдущие дни; он сказал мне с брезгливым спокойствием:

— Милый друг, я чувствую, что близится моя смерть, и во мне проснулись старые предрассудки. Хочу умереть и быть похороненным в Англии. Оставляю вам немного денег, все дома, машины, землю и мастерские. Денег вам хватит, соразмерно с теми расходами, которые я имел, года на два-три. Вы моложе и энергичнее меня, и может быть, у вас что-нибудь выйдет. Милый наш друг мистер Найдстон поддержит вас с радостью в любую минуту. Подумайте же хорошенько.

Этот человек давно стал мне дороже отца, матери, брата, жены или сестры. И поэтому я ответил ему с глубоким убеждением:

— Дорогой сэр, я не оставлю вас ни на одну секунду. Он обнял меня и поцеловал в лоб.

На другой день он созвал всех служащих и, заплатив каждому из них двухгодовое жалованье, сказал, что дело его на Каямбэ пришло к концу и что всем им он приказывает сегодня же спустить-

ся с Каямбэ вниз, в долины.

Они ушли веселые, неблагодарные, предвкушавшие сладкую близость пьянства и разврата в бесчисленных притонах, которыми кишит город Квито. Один лишь мой помощник, молчаливый славянин, — не то албанец, не то сибиряк, — долго не хотел уходить от своего хозяина. «Я останусь при вас до моей или вашей смерти», — сказал он. Но лорд Чальсбери поглядел на него убедительно, почти строго, и сказал:

— Я еду в Европу, мистер Петр.

— Все равно, и я с вами.

— Но ведь вы знаете, что вам грозит там, мистер Петр.

— Знаю. Веревка. И однако, все равно я не покину вас. Я все время в душе смеялся над вашими сентиментальными заботами о счастии людей миллионных столетий, но никому не говорил об этом, но, узнавши близко вас самого, я также узнал, что чем ничтожнее человечество, тем ценнее человек, и поэтому я привязался к вам, как старый, бездомный, озлобленный, голодный, шелудивый пес к первой руке, приласкавшей его искренно. И поэтому же я остаюсь при вас. Баста.

Я с изумлением и восторгом глядел на этого человека, которого я раньше считал окончатель-

но неспособным на какие-нибудь возвышенные чувства. Но учитель сказал ему мягко и повелительно:

— Нет, вы уйдете. И сейчас же. Мне дорога ваша дружба, мне дорога ваша неутомимая работа. Но я еду умирать к себе на родину. И ваши возможные страдания только отяготят мой уход из мира. Будьте мужчиной, Петр. Возьмите деньги, обнимите меня на прощание, и расстанемся.

Я видел, как они обнялись и как суровый Петр несколько раз горячо поцеловал руку лорда Чальсбери, а потом бросился прочь от нас, не оборачиваясь назад, почти бегом, и скрылся за ближайшими зданиями.

Я поглядел на учителя: он, закрыв лицо руками, плакал…

Через три дня мы шли на знакомом мне пароходе «Гонзалес» из Гваякиля в Панаму. Море было неспокойно, но ветер дул попутный, и в подмогу слабосильной машине капитан распорядился поставить паруса. Мы с лордом Чальсбери все время не покидали каюты. Его состояние внушало мне серьезные опасения, и временами я даже думал, что он мешается в уме. Я глядел на него с беспомощной жалостью. Особенно поражало меня то, что через каждые две-три фразы он непременно

возвращался мыслями к оставленному им на Каямбэ кювету № 216 и каждый раз, вспоминая о нем, твердил, стискивая руки:

«Неужели я забыл, ах, неужели я мог забыть?» Но потом речь его становилась опять печальной и возвышенной.

— Не думайте, — говорил он, — что маленькая личная драма заставила меня сойти с того пути трудов, упорных изысканий и вдохновений, который я терпеливо прокладывал в течение всей моей сознательной жизни. Но обстоятельства дали толчок моим размышлениям. За последнее время я многое передумал и переоценил, но только в иной плоскости, чем раньше. Если бы вы знали, как тяжело в шестьдесят пять лет перестраивать свое мировоззрение. Я понял, вернее, почувствовал, что не стоит будущее человечество ни забот о нем, ни нашей самоотверженной работы. Вырождаясь с каждым годом, оно становится все более дряхлым, растленным и жестокосердым. Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире — капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколения сказочных полишинелей-миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц.

И так будет вечно. И моя идея продлить солнечную жизнь земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы… Нет, не хочу этого… Ах, боже мой, этот кювет! Ах, неужели я забыл! Неужели! — вдруг воскликнул лорд Чальсбери, хватаясь за голову.

— Что вас так тревожит, дорогой учитель? — спросил я.

— Видите ли, милый Генри… Я опасаюсь того, что сделал маленькую, но, может, очень роковую…

Больше я ничего не слышал. На востоке вдруг вспыхнуло огромное, как вселенная, золотое, огненное пламя. И небо и море точно потонули на мгновение в нестерпимом сиянии. Тотчас же вслед за этим оглушительный гром и какой-то горячий вихрь свалил меня на палубу.

Я потерял сознание и пришел в себя, только услышав над собою голос учителя.

— Что? — спрашивал лорд Чальсбери. — Вас ослепило?

— Да, я ничего не вижу, кроме радужных кругов перед глазами. Ведь это катастрофа, профессор? Зачем вы сделали или допустили это? И разве вы

не предвидели этого?

Но он мягко положил мне на плечо свою маленькую прекрасную белую руку и сказал глубоким нежным голосом (и от этого прикосновения, и от этого уверенного тона его слов я сразу стал спокоен):

— Неужели вы не верите мне? Подождите, зажмурьте крепко глаза и закройте их ладонью правой руки и держите так, пока я не перестану говорить или пока у вас не пройдет в глазах световое мелькание, потом, прежде чем открыть глаза, наденьте очки, которые я вам сейчас сую в левую руку. Это очень сильные консервы. Слушайте, мне казалось, что вы успели узнать меня гораздо лучше за это короткое время, чем знали меня самые близкие люди. Уже ради только вас, моего настоящего друга, я не взял бы на свою совесть такого жестокого и бесцельного опыта, который грозит смертью нескольким десяткам тысяч людей. Да и то сказать, чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев? Образуйся сейчас на месте республики Эквадор с ее сплетнями, торгашеством и революциями сплошная дыра в преисподнюю, от этого ни на грош не потеряют ни наука, ни искусство, ни

история. Немножко жаль моих умных, терпеливых, милых мулов. Правда, скажу вам по совести, я ни на секунду не задумался бы принести в жертву торжеству идеи и вас, и вместе с вами миллион самых ценных человеческих жизней, если бы только я был убежден в правоте этой идеи, но ведь всего три минуты тому назад я вам говорил о том, что я окончательно разуверился в способности грядущего человечества к счастью, любви и самопожертвованию. Неужели вы можете подумать, что я стал бы мстить маленькому кусочку человечества за мою громадную философскую ошибку? Но вот чего я себе не прощаю: это чисто технической ошибки, ошибки рядового привычного работника. Я в данном случае похож на мастера, который стоял двадцать лет около сложной машины, а через двадцать лет и один день вдруг взгрустнул о своих личных семейных делах, забыл о деле, перестал слушать ритм, и вот сорвался приводный ремень и своим страшным размахом убил несколько муравьев-рабочих. Видите ли, меня все время мучила мысль о том, что я по рассеянности, приключившейся со мной первый раз за все эти двадцать лет, забыл остановить часовой завод у кювета номер двадцать один «бэ» и поставил его нечаянно на полный

взрыв. И это сознание все время, точно во сне, преследовало меня на пароходе. Так и оказалось. Кювет взорвало, и от детонации взорвались и другие хранилища. Опять моя ошибка. Прежде чем хранить в таком громадном запасе жидкое солнце, мне нужно было бы раньше, хотя бы с риском для собственной жизни, проделать в малых размерах опыты над взрывчатыми качествами сгущенного света. Теперь оглянитесь сюда, — и он мягко, но настойчиво повернул мою голову на восток. — Отнимите руку и теперь медленно, медленно откройте глаза. В один момент с необычайной яркостью, как это, говорят, бывает в предсмертные минуты, я увидел полыхавшее на востоке, то сжимавшееся, то разжимавшееся, точно дышащее, зарево, накрененный борт парохода, волны, хлеставшие через перила, мрачно-кровавое море, и тускло-пурпуровые тучи на небе, и прекрасное спокойное лицо, все в седых шелковистых сединах, с глазами, сиявшими, как скорбные звезды. Удушливый жаркий ветер дул с берега.

— Пожар? — спросил я вяло, точно во сне, и обернулся к югу. Там, над вершиной Каямбэ, стоял густой дымный огонь, который прорезывали быстрые молнии.

— Нет, это извержение нашего доброго старого вулкана. Взрыв жидкого солнца разбудил и его. Согласитесь, все-таки черт знает какая сила! И подумать только, что все это напрасно.

Я ничего не понимал. У меня кружилась голова. И вот я услышал около себя странный голос, одновременно нежный, как у матери, и повелительный, как у деспота:

— Сядьте на этот корабельный бунт и повинуйтесь слепо всему, что я вам прикажу. Вот вам спасательный круг, наденьте его сейчас же на себя, завяжите крепко под мышками, но не стесняйте дыхания; вот вам фляжка с коньяком, спрячьте ее в левый боковой карман вместе с тремя плитками шоколада, вот вам пергаментный конверт с деньгами и письмами. Сейчас «Гонзалес» будет опрокинут таким страшным валом, который вряд ли видало человечество со времен потопа. Лягте вдоль правого борта. Так. Обвейтесь руками и ногами о поручни. Хорошо. Голова у вас за железным щитом. Это поможет, чтобы вас не оглушило ударом. Когда вы почувствуете, что вал обрушился на палубу, постарайтесь задержать дыхание секунд на двадцать, затем бросайтесь вправо, и да благословит вас бог! Это все, что я могу вам пожелать и посоветовать. А затем еще,

если вам суждено умереть так рано и так нелепо… то мне хотелось бы услышать, что вы мне прощаете. Понимаете ли, другому я не сказал бы этого, но я знаю, что вы англичанин и настоящий джентльмен.

Его слова, исполненные хладнокровия и достоинства, вернули мне самообладание. Я нашел в себе достаточно силы, чтобы, пожимая ему крепко руку, ответить спокойно:

— Верьте, дорогой учитель, что никакие радости жизни не изменили бы мне тех прекрасных часов, которые я провел под вашим мудрым руководством. Я бы хотел только спросить, почему вы сами о себе не заботитесь?

Я до сих пор ясно помню его, прислонившегося к ящику с запасным компасом, помню, как ветер трепал его одежду и седую бороду, такую страшную на красном фоне вулканического извержения. Тут же я на секунду с удивлением заметил, что уже не было нестерпимо горячего ветра с берега, наоборот — с запада дул порывистый, холодный ураган, и судно наше почти лежало на боку.

— Э! — воскликнул небрежно лорд Чальсбери и устало махнул рукой. — Мне нечего терять. Я одинок во всем этом мире. У меня есть единственная

привязанность — это вы, но и вас я подвергаю смертельной опасности, из которой вам выкарабкаться — только один шанс на миллион. У меня есть богатство, но, право, я не знаю, что с ним делать, разве только, — и голос его зазвучал печальной и кроткой насмешкой, — разве только раздать его неимущим Норфолькского графства и расплодить лишнюю банду тунеядцев и попрошаек. У меня есть знания, но вы сами видите, что они потерпели крах. У меня есть энергия, но уже теперь я не смог бы найти для нее приложения. О нет, дорогой друг, я не самоубийца; если в эту ночь мне не суждено погибнуть, я употреблю мой остаток жизни на то, чтобы скромно возделывать спаржу, артишоки и дыни на каком-нибудь маленьком клочке земли, где-нибудь подальше от Лондона. А если смерть, — он снял шляпу, и странно было мне видеть его развевающиеся волосы, мечущуюся бороду и ласковые, печальные глаза и слышать его голос, звучавший, как органный хорал. — А если смерть, то с покорностью предаю мое тело и мой дух вечному богу, который да простит мне заблуждения моего слабого человеческого ума.

— Аминь, — сказал я.

Он повернулся спиной к ветру и закурил си-

гару. Четким фантастическим великолепным видением рисовалась его черная фигура на фоне багряного неба. До меня долетел тонкий запах прекрасной гаваны.

— Готовьтесь. Еще остается минута, две. Не трусите?

— Нет… Но экипаж, пассажиры!..

— Я во время вашего обморока предупредил их. Впрочем, на всем судне нет ни одного трезвого человека и ни одного спасательного пояса. За вас я не боюсь, у вас на руке надет талисман. У меня, представьте, был такой же, но я его потерял. Эй! Держитесь!.. Генри!..

Я обернулся к востоку и обомлел от смертельного ужаса. На наш скорлупу-пароход быстро двигался от берега огромный вал с Эйфелеву башню высотой, весь черный, с розово-белым, пенистым гребнем наверху. Что-то заревело, задрожало… и точно весь мир обрушился на палубу.

Я опять потерял сознание и пришел в себя через несколько часов в небольшой рыбачьей барке, спасшей меня. Моя изуродованная левая рука была грубо перевязана тряпкой, а голова замотана какими-то лохмотьями. Через месяц, поправившись от ран и душевных потрясений, я уже плыл обратно в Англию. История моих странных приключений окончена. Мне остается только прибавить, что я теперь скромно живу в самой тихой части Лондона и ни в чем не нуждаюсь благодаря щедрой доброте покойного лорда Чальсбери. Я много занимаюсь наукой и даю частные уроки. Каждое воскресенье мы с милым мистером Найдстоном обедаем поочередно друг у друга. Нас связывают самые тесные дружеские узы, и наш первый тост всегда бывает в честь и память великого лорда Чальсбери.

Г. Диббль.

P. S. Все имена собственные в моем рассказе не настоящие, а нарочно изобретены мною.

Г. Д.